
СОН ВНЕ ВРЕМЕНИ.
ЧАСТЬ 1-РАЗУМ
КОНСТАНТИН КОЛЬЦОВ
18+

Константин Кольцов

Сон вне времени. Часть 1-Разум

https://litres.ru/74758282
SelfPub; 2026

Аннотация

У Никиты Крылова было всё: жена, дочь, обычное утро. А потом позвонили в дверь. На пороге стояли двое из другого мира — и к вечеру семья уже не помнила его. Ни одного «люблю», ни одного прожитого года — всё стёрли начисто.

Но у Никиты есть дар, о котором он сам не догадывается. По ночам ему снятся его собственные дни — и он понимает: это не сны. Он просыпается в своём прошлом, в собственном теле, в любой день своей жизни. И будет возвращаться снова и снова, чтобы вернуть семье память о нём, — даже если придётся бежать от всех на свете.

Только каждый новый сон открывает дверь туда, куда он не собирался. За его прошлым скрываются годы, ветки реальности и миры, о которых никто не догадывается. И с каждым шагом он понимает: это игра, где он считал себя игроком, — а на самом деле давно фигура в чужой партии.

До чего дойдёт человек, который отказывается забыть тех, кого любит? И чем он готов заплатить, чтобы однажды проснуться в собственном доме — среди тех, кто помнит его имя?

Содержание

Пролог.Глава 1.Лучший друг.	4
Глава 2	16
Глава 3	23
Глава 4	31
Глава 5	39
Глава 6	47
Глава 7	53
Глава 8	59
Глава 9	65
Глава 10	72
Глава 11	80
Глава 12	89
Глава 13	94

Константин Кольцов
Сон вне времени.
Часть 1-Разум

Пролог.Глава 1.Лучший друг.

ПРОЛОГ

Есть минуты, когда время замирает, и ты вдруг слышишь, как оно идёт. Не часы — оно. Тяжёлое, неторопливое, как шаги человека, который знает, что никто не ждёт его к ужину.

Сегодня я слушаю именно такие шаги.

Я налил виски в стакан со льдом, опустился в кресло-качалку и повернул его к окну. За стеклом — зима. Тихая, честная зима, без ветра, без снегопада: просто выпавший за ночь снег лежит на ветках, на крышах, на спилах старых пней, и ни одна снежинка не дрогнет, пока не подует. Лес вокруг дома стоит тёмной стеной, и только кое-где между стволами ещё держится голубой сумрак — последний свет дня, которому уже некуда спешить.

Справа от меня потрескивает камин. Дрова горят лениво, с перерывами, как человек, который рассказывает старую историю и всё время отвлекается на воспоминания. От камина

идёт тепло — то самое, живое, единственное тепло, которое ещё умеет напоминать о доме.

Меня зовут Ворон. Это имя мне подарили — кто и когда, вы узнаете в самом конце этой истории. Настоящее имя у меня тоже есть, обычное, человеческое: Никита. Никита Крылов. Когда-то у меня была фамилия, которая звучала в паспорте, в договорах, в чужих устах скучно и по-деловому. Теперь мне от неё остался только звук.

Мне тридцать пять.

Я один.

А где же все остальные — спросите вы. А их нет. В округе совсем пусто, потому что сейчас я так захотел. Километры вокруг — только заснеженные дома, пустые, тёмные, с заколоченными окнами, без единого огонька. И если вы сейчас подумали, что я сижу в брошенной деревне и разговариваю с камином, как последний человек на земле, — вы почти угадали. Деревня не брошена. Просто сегодня я решил отдохнуть от всех людей. И не только от людей.

Я ещё молод телом, но мой мозг прожил больше жизней, чем мне отпущено по документам. Как это возможно — долго объяснять, и я не стану этого делать сейчас. Скажу только одно: у меня есть дар, который заменяет мне один сон на месяцы, а то и на годы. Я этого не просил. Никогда не просил. Но судьба распоряжается подарками не спрашивая — она просто кладёт их тебе на порог и смотрит, поднимешь ли.

Я поднял.

И с тех пор иду.

Есть ещё одна вещь, которую надо сказать сразу, чтобы у вас не было иллюзий: эту книгу я пишу ночью. Днём у меня есть дела — наколоть дров, растопить печь, разгрести снег от дома до калитки, потому что в снегу, которого никто не чистит, через неделю пройдёт разве что лось. А ночью — эта тетрадь. Я пишу от руки, простым карандашом: чернила на морозе не живут, а карандаш живёт всегда — как правда, если держать её в тепле.

Зачем я пишу? Не ради славы — её у меня хватает, хотя о ней не знают даже те, кто её мне выдал. И не ради правды, потому что правде у камина тесно: она любит жить в людях, а вокруг меня сегодня людей нет. Я пишу для двоих. Один из них никогда этого не прочтёт — так я решил за него, не спрашивая, и от этого решения мне тошно по сей день. Второй прочтёт. И встанет в дверях — туда, где раньше был камин, а теперь стоит она, — и скажет своё «доброе». И это будет значить, что я дома.

Так что не судите строго стиль. Стихии у меня две: снег и карандаш, и обе пишут медленно.

Куда бы я ни бежал, сколько бы ни пытался от этого спрятаться — от грядущего мне не уйти. Оно догоняет всегда, потому что оно — это я сам, только раньше, чем я успел испугаться. Придётся встретиться с правдой лицом к лицу. И, честно говоря, я устал откладывать эту встречу: она всё равно состоится, вопрос только в том, сколько виски у меня ещё

останется к тому дню.

Но сначала — о том, как всё началось.

А началось всё, как и положено, с обычного утра. С кофе, с будильника, с жены, которая попросила вынести мусор. С дочки, которая не хотела надевать шапку. Никаких знамений, никаких громов. Только сон, который оказался не сном, и вопрос ребёнка, на который я до сих пор не знаю ответа.

Слушайте. Я расскажу всё — с самого начала. Медленно. По-честному. У нас впереди длинная ночь, и камин ещё не раз заставит нас поверить, что дом — это не стены, а люди.

ГЛАВА 1. ЛУЧШИЙ ДРУГ

Утро началось, как тысячи утр до него: будильник сработал ровно в полшестого, за окном серело, и в квартире пахло вчерашним ужином и свежей встающей жарой. Я лежал и слушал, как дышит Вика, как за стеной сопит Катя — она в этом возрасте засыпает с игрушкой, а просыпается уже без неё, и где эта игрушка ночует, не знает никто, включая саму игрушку.

Я был счастлив. Запомните это. Я был по-настоящему, глупо, бытово счастлив — с мусорным ведром, с кофе, с носком, который всегда пропадает по одному из пары. Я просто ещё не знал, что счастье умеет прятаться в самые обычные дни, как монетка в кармане старой куртки: не замечаешь годами, а найдёшь — и сидишь, и держишь на ладони, и не веришь.

Вика повернулась ко мне во сне, прижалась тёплым бо-

ком, вздохнула мне в шею и потёрлась носом о плечо. Потом, не открывая глаз, прошептала: «Доброе». Это её утреннее слово — без «утро», просто «доброе». Я отвечал так же, годами: «Доброе». И это был весь наш разговор перед рассветом, и он стоил дороже любых длинных речей.

Потом — душ, кофе, Катю растолкали, как топят печку: сначала нехотя, с шипением, потом разом, жарко и весело. Она уселась за стол, ковыряя вилкой яичницу, и объявила: «Пап, а в классе Лиза сказала, что если съесть семечки с кожурой, то внутри вырастет дерево». Я не стал разубеждать — пусть деревья растут, чем лучше фантазия, тем лучше. Вика засмеялась в кулак, чтобы не разбудить соседей снизу, и я поймал её взгляд через стол — тот самый, короткий, из-под ресниц, который она умеет делать только со мной.

Мы довезли Катю до школы, пообещали вечером мороженое, и я помахал ей рукой у ворот. Она помахала в ответ обеими — так, как машут, когда совсем не хотят расставаться. И побежала к своим, перепрыгивая через трещины в асфальте, будто там лежали реки.

Если бы я знал, что запомню это на всю жизнь — до последней трещины, — я бы посмотрел дольше.

Но я не знал. Никто никогда не знает.

В тот день я работал дома: перебирал бумаги, разговаривал по телефону, делал всё то, что делает обычный человек, когда его работа похожа на тысячу других. Вечером мы с Викой собирались съездить к Викиной маме на день рождения,

купили торт, я выбирал между «Наполеоном» и «Медовиком» минут десять, и Вика смеялась: «Бери оба, ты всё равно в полночь съешь половину и скажешь, что это я виновата».

В полночь я съел половину. И сказал, что это она виновата. И мы засмеялись. И я выключил свет.

И уснул.

А дальше — началось.

Я очнулся в машине. За рулём. На ходу.

Руки сами держали руль, ноги лежали на педалях, и всё тело работало на автопилоте, будто я был не хозяином себя, а пассажиром в собственном теле. Мимо проносились столбы, фонари, повороты. Я не помнил, как сел за руль. Не помнил, куда еду. Не помнил, сколько времени прошло с момента, как я закрыл глаза в спальне.

Я остановился на обочине. Заглушил мотор. Посмотрел на часы — было полвторого ночи. Сел и просто дышал. Руки дрожали так, что я не смог вставить ключ зажигания обратно, — пришлось класть его на сиденье и просто сидеть, смотреть на него, как на улику чужого преступления.

«Что это было?» — подумал я. И подумал так спокойно, как будто спрашивал у неба о погоде. Потом испугался того, как спокойно спросил. Потом испугался уже по-настоящему — по-человечески, до кома в горле, до холодных ладоней, до мыслей, которые скачут, как испуганные птицы.

Доехал домой я только к трём. Вика спала. Я сел на кухне, включил маленькую лампу над плитой и час сидел, слушая,

как тикают часы — два тика, пауза, два тика. И не мог придумать ни одного разумного объяснения.

Сон. Сон на ходу. Лунатизм. Стресс. Усталость. Всё это я прокручивал в голове, как крутят монету — на удачу, на неудачу. Монета не падала.

И тогда я сделал то, что делают все, — полез в интернет. Набрал: «засыпаю и просыпаюсь в другом месте», «сон продолжается в реальности», «просыпаюсь за рулём». Прочитал про лунатиков, про нарколепсию, про «провалы в памяти». Закрыл ноутбук. Никакое из слов не подходило. Мне нужно было своё слово. А у моего состояния слов ещё не придумали.

Наутро я ничего не сказал Вике. Зачем пугать? Вдруг пройдёт. Вдруг это нервы, недосып, всё, что угодно. Люди всю жизнь живут с маленькими странностями и не делают из них романов.

Оно прошло бы. Я почти уверен, что прошло бы, — если бы не случилось то, что случилось через несколько дней.

Второй сон пришёл в пятницу.

Я помню, как заснул — обычный вечер, обычная усталость, обычная подушка. А потом меня словно вынули из этой ночи и вложили в другую: я стоял в коридоре, которого не знал, — длинном, крашеном, с линолеумом в разводах и запахом краски и старой капусты. Голый бетон под ногами. Гулкое эхо от каждого шага. И где-то в конце коридора — дверь. Обычная, серая, железная, с табличкой, которую я не

мог разобрать: то ли буквы плясали, то ли свет дрожал.

Я пошёл к ней. Шёл долго — коридор словно растягивался, как резиновый, сколько ни делай шагов. И с каждым шагом я всё яснее понимал: это не сон. Сны не пахнут краской. Сны не звенят в ушах от тишины. Сны не заставляют сердце колотиться так, что болит в рёбрах.

Я остановился у двери и просто смотрел на неё. Не решался прикоснуться.

И тогда за дверью кто-то произнёс моё имя.

Спокойно, без угрозы, как будто ждал меня за этим железным полотном всю жизнь: «Никита».

Я проснулся.

И не в своём настоящем.

В комнате было темно. Рядом дышала Вика — родным, тёплым, хорошо знакомым дыханием. Всё вокруг было знакомым: потолок — тот самый, шторы — те самые. Каждая деталь кричала: ты дома. Но за окном было лето: светло, рано, кричат птицы так, как кричат только в июне.

Рядом заворочалась Вика.

— Приснился кошмар? — спросила она сонным голосом, повернулась ко мне и обняла. — Ты дёргался.

Да. Кошмар. Кошмар, в котором я стоял в коридоре с линолеумом и слышал своё имя за железной дверью. Я открыл рот, чтобы сказать «да», — и не смог: голос сорвался на середине слова.

— Тише, тише. — Вика повернулась ко мне совсем, при-

тянула мою голову себе на грудь и начала гладить по спине — медленно, от лопаток вниз, как делала всегда, когда мне было плохо. Ещё до Кати. Ещё до всего. — Ничего не говори. Полежи так. Я никуда не денусь, слышишь? Ни-ку-да.

И только лёжа вот так, слушая, как стучит её сердце у меня под щекой, я осмелился спросить — самое простое, на что всю жизнь отвечал не задумываясь:

— Вика. Какое сегодня число?

— Девятое июня. — Она приподнялась на локте, посмотрела на меня сверху — сонная, с измятой щекой, с прилипшей ко лбу прядью. — А что?

Девятое июня. Слово упало в меня, как камень в колодец, — и я ещё не слышал, как оно стукнулось о дно.

— А что у нас сегодня?

— Ну ты даёшь. — Она ткнула меня пальцем в бок и рассмеялась — беззлобно, сквозь сон. — Свадьба Андрея! Твоего лучшего друга. Ты же свидетель. И костюм, между прочим, до сих пор не заказан — я вчера полдня уговаривала тебя не тянуть. Так что спи, у нас куча времени.

— Стоп. — Я сел на кровати. — Во сколько?

— В пять, милый. — Она села рядом и поправила мне подушку за спиной, чтобы удобнее было, — привычка, отработанная восемью годами. — Что с тобой? Ты какой-то не такой.

— Вика. — Я говорил медленно, взвешивая каждое слово, как взвешивают ступеньки на тёмной лестнице. — Когда

Андрюха женился?

Она перестала двигаться. Посмотрела на меня — сначала сонно, потом внимательно, потом настороженно.

— Что?

— Когда он женился? Мы гуляли на его свадьбе. Я тост говорил. Ты плакала. Катя уснула у тёти Люды на коленях — не дождалась даже торта. Что происходит?

— Никита. — Она взяла меня за руку, ладонь у неё была тёплая и спокойная, — только глаза уже не были спокойными. — Андрей женится сегодня. Сегодня. Ты же свидетель, ты и костюм вечером наденешь. Ты чего пугаешь меня?

— Вторник? — сказал я в пустоту. — Сегодня вторник?

— Вторник, конечно. Да что с тобой?

Девятое июня. Второй раз за утро я услышал это число — и второй раз оно падало в меня, как камень в колодец.

Я знаю этот день. Я прожил его — год назад, два года назад, неважно: я прожил его, и я помню его, потому что это было утро свадьбы Андрея, и это было одно из самых счастливых утр нашей жизни.

И я проснулся в нём.

Не вспомнил его. Не увидел во сне. Я — здесь. В теле, которое помнит это утро как настоящее. С женой, которая спрашивает, что со мной. За окном — июнь.

А коридор с железной дверью мне не приснился.

Я просто проснулся в своём же прошлом.

Мой ум делал то, что делает ум всегда, когда реальность

не сходится: искал, где сбой. Свадьба Андрея была — я помнил её всю: ресторан, тост, Викины слёзы, Катю, уснувшую у тёти Люды на коленях. Значит, либо я всё это видел во сне, либо… либо этот день — не тот день, в котором я жил вчера. Либо я — не там, где себя оставил.

Я закрыл глаза. Засыпать — вот что нужно. Уснуть — и вернуться в своё время, к своей Вике, к своей Кате, к своему настоящему. Я сосредоточился на них — на запахе нашего дома, на скрипе двери, на том, как Катя стучит по полу ножками, — и провалился.

Проснулся я там, где и должен был проснуться: в своей постели, в своём ноябре. Вика сидела рядом, бледная, с растрёпанными волосами: «Ты кричал. Я не могла разбудить». Я сказал, что всё в порядке. Это была ложь — но из тех лжей, которые разрешены мужьям: ложь во спасение её покоя. Пока — во спасение её покоя.

А через несколько дней случилось первое настоящее чудо — уже по-настоящему, не во сне.

Мы шли с Катей из магазина. Она тащила пакет с мандаринами — ей нравилось нести что-то своё, «как взрослой», — и болтала без умолку про своего дружка Мишку, который умеет свистеть пальцами, и она научится тоже, обязательно, до конца лета. И вдруг она замолчала на полуслове, посмотрела на меня снизу вверх очень серьёзно, как смотрят взрослые дети, и сказала:

— Пап, а ты был здесь раньше?

— Здесь? — я оглянулся. Обычная улица, обычные дома, обычный двор с покосившейся качелей.

— Ну да. Сюда. — Она топнула ногой по асфальту. — Мне приснилось, что мы с тобой тут стоим и ты мне говоришь: «Не бойся, я рядом». И я не боялась.

Я стоял и не мог сказать ни слова. Потому что в том коридоре с линолеумом, за серой железной дверью, я слышал голос — и голос говорил мне: «Не бойся». Своими же губами. Своим же голосом.

Совпадение? Я умею считать совпадения — так меня учили, и жизнь не раз это подтверждала: совпадения случаются. Два совпадения подряд — уже закономерность. Три — это уже не совпадение, это чьё-то послание.

Я взял Катю за руку и молча пошёл домой. Мандарины в пакете постукивали друг о друга, как маленькие часы, отмеряющие время, которого у меня оставалось всё меньше — я просто ещё не знал, насколько меньше.

В ту ночь я снова уснул.

И снова был коридор.

И снова — дверь.

Только теперь я знал, что делать.

Глава 2

ГЛАВА 2. СОН, КОТОРЫЙ БЫЛ ПРАВДОЙ

Я не буду пересказывать вам каждый свой сон — вы бы заскучали, а я не люблю скучных историй, даже про себя. Расскажу главное: сны стали приходить каждую ночь. Каждый раз — новое место, новый год, новая я сам, но всегда — я сам. Будто кто-то листает мою жизнь, как старый альбом, и останавливается на случайных фотографиях.

Сначала я решил, что схожу с ума. В этом нет никакого драматизма — так думает любой человек, который видит то, чего не должно быть. Я даже записался к психотерапевту. Сидел напротив него, взрослый мужик, тридцать пять лет, серьёзная работа, ипотека, семья, — и рассказывал про коридоры и железные двери. Он кивал, записывал что-то в блокнот и в конце сказал: «У вас классический синдром деперсонализации, Никита. Давайте поработаем с этим».

Я поработал неделю. Недостаточно, чтобы вылечиться, — достаточно, чтобы понять: это не болезнь. Болезнь не оставляет на теле следов, которые потом подтверждаются. А мои сны оставляли.

Вот как это было в первый раз.

Мне приснился двор нашего старого дома — тот, где мы жили до Кати, до ипотеки, до всего. Двор с покосившейся качелей, с ржавой трубой, из которой летом капала вода, и

зимой на ней вырастали сосульки в форме рыбьих хвостов. Во сне я стоял у этой трубы и точно знал: я — здесь. По-настоящему. Не вспоминаю — стою.

Я дотронулся до трубы. Она была холодная. По-настоящему холодная, та самая холодная, которую помнят пальцы детства — а не мозг.

Проснулся я у себя в квартире. Взрослый. В своей кровати, рядом Вика, за окном наше настоящее.

А на ладони — царапина. Свежая, маленькая, в точности там, где труба была шершавой и рваной. Я смотрел на неё и понимал: либо я схожу с ума, либо что-то в этом мире работает совсем не так, как я думал.

Я показал царапину Вике — мол, посуду разбил, задел. Она поверила. Она всегда верила мне — и в этом была её сила и её беда, потому что правда, которую я не говорил ей, делала нас обоих немного одинокими, хоть мы и спали в одной кровати.

Потом был второй сон — и второй след. Потом третий. Потом я перестал вести счёт.

А был ещё один сон — самый первый из всех, о которых я вам рассказывал, и самый странный, потому что он начался раньше всего. Сон из детства. Мне было в нём четыре года — я это понял не по росту, а по тому, что смотрел на мир снизу вверх, и ручка стола была на уровне моих глаз, и дверь открывалась с трудом, от бедра, обеими руками.

Я стоял на кухне старой квартиры — той, в которой мы

жили до всего. Мама месила тесто: руки у неё были в муке до локтей, и она не могла поправить мне воротник, потому что боялась испачкать, — и я смеялся, потому что она хмурилась так, будто это я виноват. А у окна сидел папа с гитарой. Он не играл. Он просто держал её на коленях, как держат спящего кота, и смотрел на маму, на меня, на всю эту кухню — так, как смотрят на то, что уже собираются покинуть. Взрослые думают, что дети этого не замечают. Дети замечают. Дети всё замечают — просто не умеют об этом сказать, и потому молчат годами, а потом говорят с этого молчания всю жизнь.

Потом папа присел на корточки. Мы оказались одного роста, и это было хорошо — я впервые в жизни смотрел ему в глаза не снизу, а прямо, как смотрят равные. Он поправил мне воротник — за маму, чистыми пальцами, — и сказал тихо, почти шёпотом:

— Запомни этот дом, Никитушка. Кухню. Вот эту трещину над плитой. Мамины руки. Запомни.

И я запомнил. Я стоял и запоминал — как запоминают на экзамене, старательно, по предметам: трещина, кастрюля, занавеска в цветочек, мамины локти в муке, гитара на папиных коленях. Я не знал, зачем. Четырёхлетним не объясняют, зачем запоминать, — они просто запоминают, когда взрослые так просят.

Я проснулся в своей взрослой кровати — и на губах у меня остался вкус молока. Настоящий, физический вкус, как будто я действительно пил его пять минут назад. Я лежал в

темноте и пытался вспомнить ту кухню наяву — и не мог. Не было её в памяти. Квартиру, где мы жили до четырёх лет, я не помнил вовсе: ни планировки, ни двора, ни лица мамы в муке. Всё было в доме, который мне показали, — и ничего не было во мне. Так бывает с людьми, которые выросли без корней: у них всё детство хранится где-то отдельно, в закрытой комнате, и дверь в эту комнату открывается только с другой стороны.

— Ты опять кричал во сне, — сказала Вика утром, не отрываясь от каши. — Всё время повторял: «запомни, запомни». Запомнить что?

— Не знаю, — сказал я. И это была самая честная фраза за все эти месяцы.

В ту ночь я завёл тетрадь. Обычную, в клетку, купленную на заправке. Слева — дата, год, место, куда меня выбросило. Справа — что подтвердилось наяву, а что нет. Я вёл её, как вёл бы вахтенный журнал: сухо, строчками, без лирики. Лирика началась позже — когда строчек стало больше, чем можно было унести в одной голове.

И из этой тетради, перелистав её насквозь месяц спустя, я вычитал одну вещь, которой не придавал значения, пока не пришлось. Сны приходили не тогда, когда я хотел, а когда мне было страшно. Ночь после первого сна за рулём. Ночь, когда я впервые записал в тетрадь слово «коридор». Ночь после разговора с психотерапевтом, когда я разозлился на собственный диагноз. Страх — это звонок. Сон — это дверь,

которая открывается на звонок. Меня пугало не то, что я путешествую. Меня пугало, что кто-то открывает с той стороны — всегда вовремя, всегда на мой страх, как открывают дверь те, кто ждал.

Я понял три вещи.

Первая: я действительно путешествую во времени. Не вспоминаю, не мечтаю — попадаю. Во сне. В своё собственное тело, в любой свой возраст, в любой день своей жизни.

Вторая: это не выбирает меня сам — выбирает сон. Я не могу заказать себе конкретный день, как в кино. Я засыпаю — и сон сам решает, куда меня выбросит: в детство, в юность, в прошлую среду или в какой-нибудь день, который ещё только будет.

Третья — и это была самая страшная из трёх: всё, что я видел в этих снах, было правдой. По-настоящему правдой. Не аллегорией, не метафорой. Правдой, которая случится или уже случилась, и от этого не станет менее правдой.

И вот тогда, через полгода таких снов, мне приснился день, который я потом буду вспоминать всю жизнь.

Мне снилось, что в наш дом входят двое.

Я помню, как засыпал: обычный вечер, обычный четверг, Вика читала Кате книжку, я сидел в кухне с телефоном в руках и листал новости, которые не запомнил ни одной. Потом я уснул.

И увидел их.

Двое. Молча. Они просто вошли в нашу прихожую — не

выломав дверь, не разбив окно, а просто вошли, как входят те, кому замки не писаны. Один — мужчина, высокий, в тёмном пальто. Второй — женщина, в плаще, с кротким лицом, как у учительницы из сельской школы, — и от этого кроткого лица мне стало страшнее, чем от любого злого.

Я кричал во сне — но во сне не было звука, как в кошмарах, когда открываешь рот, а крик не выходит. Я бросился к ним — но они не двигались с места, будто я был не помехой, а декорацией.

Мужчина протянул руку к Вике — медленно, почти нежно, как поправляют воротник ребёнку. Положил ладонь ей на голову. Вика обмякла — просто осела, как марионетка, у которой перерезали нити, — и упала на пол.

Я закричал.

Беззвучно.

Женщина с кротким лицом повернулась к Кате. Катя смотрела на них широко открытыми глазами — во сне она не плакала, она смотрела, как смотрят дети, когда мир вдруг перестаёт играть по правилам, которые им объяснили.

Женщина положила ладонь ей на голову.

Катя упала.

И тогда я проснулся.

По-настоящему проснулся — в поту, с колотящимся сердцем, с криком, застрявшим в горле, с руками, которые тянулись к никому не нужному воздуху. Вика вскочила рядом, включила ночник: «Никита! Что случилось? Ты кричал!»

Я не мог ответить. Я смотрел на неё живую, тёплую, настоящую — и не мог произнести ни слова. Потом собрался: «Кошмар. Прости. Просто кошмар».

Она не переспросила. Включила ночник до конца, села рядом, обняла меня за плечи и притянула к себе — и так, молча, сидела со мной, пока моё дыхание не выровнялось. Потом погладила по голове, как гладят больших детей, и сказала: «Я рядом. Спи». И уснула — но не ушла к дальней стене, а оставила ладонь у меня на груди. А я сидел до утра и смотрел в потолок, и одна мысль крутилась во мне, как сломанная пластинка: это был не сон. Это было будущее. Или прошлое. Или что-то ещё, чему у меня нет названия. Но это было правдой.

Я сказал себе: «Это просто сон. Ты устал. Ты напуган. Это просто сон».

Я очень хотел, чтобы это было просто сном.

А через месяц это случилось по-настоящему.

Я расскажу вам об этом, когда дойдём до той главы — не сейчас. Не потому, что мне не хочется, а потому, что рассказать об этом в начале — значит отнять у вас надежду на тридцать глав. А она вам понадобится. Поверьте — она понадобится и мне.

Глава 3

ГЛАВА 3. ТИШЕ ЕДЕШЬ

После сна про вторжение я перестал спать по-настоящему.

Я научился держаться на кофе, на привычке, на упрямстве — три опоры, на которых, как известно, стоит любой человек, который боится заснуть. Вика заметила, конечно. Вика замечала всё — она была из тех людей, что видят тебя насквозь, но не тычут пальцем, а просто ждут, когда ты сам решишься поговорить. Это качество дорогого стоит, и я понял это только тогда, когда потерял возможность слышать её по вечерам.

— Ты что-то скрываешь, — сказала она однажды, не поднимая глаз от посуды. Она мыла чашки, и я смотрел на её спину — на худую, знакомую до последней родинки, и понимал, что если скажу ей правду, она либо испугается, либо не поверит. И то и другое было хуже молчания.

— Я просто не высыпаюсь, — сказал я. И это была не ложь — это была правда, у которой я отрезал половину.

Она поставила чашку на сушилку, вытерела руки о полотенце и повернулась ко мне. Смотрела долго — так долго, что я успел подумать: сейчас всё, она узнает, она всегда узнаёт, она умеет читать меня лучше, чем я сам читаю себя.

— Никита, — сказала она тихо. — Я не знаю, что с тобой происходит. Но я вижу, что происходит. И я не буду спра-

шивать. Просто знай: когда решишь — я рядом. Я всегда рядом, ты это знаешь.

Она поцеловала меня в висок и ушла к Кате читать. А я остался стоять на кухне с чашкой, в которой кофе остыл, и думал о том, как бывает: человек живёт с тобой, видит тебя каждый день, и не догадывается, что в тебе растёт что-то, что однажды перевернёт весь ваш мир. Или догадывается — но молчит, потому что любит. Не знаю, что из двух страшнее.

А потом дядя Семён позвонил.

Звонок был обычный: спросить, как дела, сказать, что у него в саду томаты наливаются и что он сварил варенье из чёрной смородины, «лучше прошлогоднего, честное слово». Дядя Семён — брат моей матери — был тем единственным человеком, который заменил мне родителей, когда мне было четыре года и их не стало. Точнее — не «не стало». Пропали без вести. Оба. В один день. Это значит, что их не похоронили, не проводили, не поплакали на могилке — их просто больше не было, и всё. Куда они ушли, куда делись, почему не вернулись — никто не знал, и я рос с этой пустотой в груди, как растут с шрамом: сначала болит, потом привыкаешь, потом не замечаешь, но знаешь, что он там.

Дядя Семён был из тех людей, что умеют молчать так, чтобы рядом не было страшно. Он редко говорил о главном напрямую, но его «тише едешь — дальше будешь» звучало из него не как поговорка, а как целая философия, отработанная годами жизни, у которой было мало лёгких дорог.

— Чего молчишь, Никитушка? — спросил он в трубку. — Дела у тебя, что ли?

— Так себе, — сказал я.

— «Себе» у тебя голос, как у человека, который неделю не спал и на кофе держится. — Он помолчал. — Заходи ко мне. Поговорим за чаем. Расскажешь всё за чаем — если захочешь.

Мы приехали к нему в субботу. Он жил за городом, в доме, который сам же и строил сорок лет назад, — ещё при моей матери, ещё при той жизни, когда всё было проще и надёжнее. Дом был тёплый, из бруса, с большой печью, которая топилась по-старинному, дровами, и зимой в нём было жарко, как в бане, — так, что приходилось открывать форточку.

Он встретил нас на крыльце — седой, подвижный, с руками, которые помнили каждое бревно этого дома. Катя полюбила его сразу и навсегда — он умел разговаривать с детьми, как с равными, ни разу не соврав и не сбавив сложности, и дети это чувствуют раньше взрослых.

За чаем — с чёрной смородиной, честное слово, лучше прошлогоднего — я рассказал ему всё.

Про сны. Про коридор. Про двор с качелей, и как труба оставила царапину. Про то, как я просыпаюсь в других годах. Про то, как мне снилось вторжение, и как я теперь не могу спать.

Дядя Семён отодвинул свою чашку и положил руки на стол — ладонями вниз, так кладут руки те, кто собирается

говорить долго и без утайки. Катю он перед этим уложил в дальнюю комнату, на дядину кровать, накрыв одеялом, которое пахло яблоками, — «дети не должны слушать, Никитушка, дети должны спать».

— Апрель был, — сказал он, глядя не на меня, а на печь. — Тёплый апрель, рано. Я приехал к вам на выходные — сажать картошку, батя мой звал, а я к вам, потому что бате я и так урожай отвожу, а вам — время. — Он помолчал. — Собирался ваш батя в тот день странно. Как в командировку. Сумка у него была не командировочная — дорожная, с ремнями, с пуговицами, я такие только в кино видал. Я спрашиваю: куда это ты, Костя? А он смеётся: «В командировку, Семён. На недельку».

— И всё? — спросил я.

— И всё. А мать твоя в тот день была как в праздник. Туфли надела — те, что берегла, на каблучках, в коробке держала под кроватью, дети их не носили. Я потом, когда всё случилось, у порога нашёл: туфли стоят. В коробке. То есть либо она в них не ушла, либо ушла в другом. — Он помолчал. — Чай на столе стоял. Две чашки. Недопитые. Не брошенные, не разлитые — аккуратно так поставленные, будто хозяева на минутку вышли и сейчас вернутся. Я тот чай потом вылил — и до сих пор помню, как он был тёплый. Тридцать лет, а я помню, что он был тёплый.

— А дверь? — спросил я.

Дядя Семён посмотрел на меня. Первый раз за вечер —

прямо, не в печь.

— А дверь была незапертая, Никитушка. Изнутри. — Он сказал это так, как говорят последние слова, — и я понял, что этого он не говорил никому за все эти годы, а держал в себе, как держат камень. — Никто её не выломал. Никто не взломал. Они просто вышли — и забыли запереть за собой. Или не забыли. Или им это уже было не нужно. Я не знаю. Тридцать лет не знаю.

Он встал, подкинул дров в печь и вернулся на место. В печи затрещало.

— И последнее, чего я вам не говорил. — Он сел и посмотрел мне в глаза. — Батя мне сказал одну фразу. Не в тот день — раньше, за месяц до всего. Мы сидели у него в гараже, он что-то там крепил, а я держал лампу. И он говорит — как бы между делом, а я всю жизнь потом эту фразу перекатываю, как монету: «Семён, если с Никитой что-то начнётся — не лечи его. Это не болезнь».

Я замер.

— То есть он знал? — Я думал, он про нервное. Мальчик с фантазией богатой, сны яркие, — я думал. Я в него тогда не верил, сам сказал же. А фразу эту я всё равно запомнил — наизусть, как запоминают то, чего не понял. И вот ты мне тут рассказываешь про свои сны, про свои года — и я, дурак, только сейчас эту фразу понял.

— Что вы поняли? — спросил я тихо.

— Что он просил меня не мешать. — Дядя Семён провёл

ладонью по лицу — от лба вниз, как стирают усталость. — И я тридцать лет не мешал, хоть и не знал, чему не мешаю. А теперь они пришли — уже к тебе. Значит, моя очередь кончилась. — Он подвинул мне чашку. — Чай остыл. Наливай новый. И есть у меня для тебя одна вещь, Никитушка. Но рано ещё. Придёт время — отдам. Время, оно лучше меня знает, когда что отдавать.

Я тогда не придал значения последним словам — а надо было. Из всех слов дяди Семёна я потом вспоминал именно их. «Придёт время — отдам». Время пришло. Дядя отдал.

Он слушал молча. Не перебивал. Не смеялся. Не качал головой с укоризной — «мол, чего ты мелешь». Он слушал так, как слушают только очень старые люди, которые уже повидают в жизни всё и потому не удивляются, а просто ждут конца рассказа, чтобы понять его целиком.

Когда я закончил, он долго молчал. Потом встал, подкинул дров в печь, сел обратно и сказал:

— Так. Значит, так, Никитушка. Скажу тебе одну вещь, а ты уж сам решай, чему верить.

Я ждал.

— Твой отец, — сказал он и посмотрел мне в глаза, — был человек со странностями. Не теми странностями, от которых люди отворачиваются, а теми, от которых они втихую завидуют. Он тоже говорил такое… сны его, время, вещи разные. Я тогда считал, что это от его работы — он много умственного делал, голова у него была занята не нашим, а своим. Я в

него не верил, понял? В родного зятя своего — в отца твоего. А теперь, когда ты мне такое рассказываешь, я понимаю: я в него не верил — зря.

— Что вы хотите сказать? — спросил я тихо.

— Хочу сказать, что, может, это не с твоей головы начинается. Может, это от твоей крови. От твоих корней. — Он налил мне ещё чаю, не спрашивая. — Ты знаешь, Никитушка, есть вещи, которые переходят в роду, как цвет глаз или характер. Не всё в нас наше собственное. Кое-что нам даётся в наследство, как дом от деда: живи, обустраивай, не ломай.

Я сидел и молчал. В печи трещало. За окном падал снег — первый в тот год, и мир становился белым и чистым, как будто кто-то большой стирал с него все наши маленькие грязные следы. И не навсегда — просто до следующей дороги.

— Дядь Семён, — сказал я наконец. — А вы верите в это? В то, что я говорил?

Он посмотрел на меня поверх очков — так смотрят на внуков, когда они задают слишком взрослые вопросы.

— Я верю в то, что вижу, — сказал он. — А вижу я, что ты не спишь по ночам и боишься заснуть, как боится воды человек, который чуть не утонул. И я вижу, что жена твоя смотрит на тебя так, как смотрят на человека, которого боятся потерять. И я вижу, что дочка твоя рисует ворона на каждом листе — на альбомах, на тетрадках, на заборе. Я её спросил, почему ворон-то? А она говорит: «А он мне приснился, дедушка. Он сказал, что будет охранять». — Дядя

Семён отпил чаю. — Так что верю ли я? Не знаю, малой. Но я вижу. А это, знаешь, покрепче веры будет.

Мы уехали от него уже в темноте. Катя спала на заднем сиденье, обняв свою куклу, Вика смотрела в окно на дорогу, освещённую фарами, и я вдруг поймал себя на странной мысли: мне не стало легче. Но мне стало не так одиноко. А это, если подумать, — почти одно и то же.

Глава 4

ГЛАВА 4. ОЗЕРО КУПАТ

Место, о котором я расскажу, не найдёте ни на одной карте.

Мы его нашли сами — точнее, нашла Вика, в один из тех выходных, когда нам надоело жариться на городских пляжах среди зонтов, матрасов и колонок, из которых орут три разные песни одновременно. Она копалась в старых форумах — тех, что живут в глубине интернета, где люди делятся не новостями, а находками, — и наткнулась на пост: «Есть озеро в сорока километрах от города, называется Купат. Никто не знает почему. Туда не ведёт дорога — ведёт грунтовка, и то до определённого места, дальше пешком. Людей нет. Проверено».

Мы поехали туда в первое же воскресенье. И, как вы уже поняли, не пожалели.

Озеро Купат — это кусок голубого неба, упавший в лес. Вода в нём такая прозрачная, что на глубине двух метров видишь каждый камешек, каждую травинку, каждую рыбёшку, которая проплывает мимо и смотрит на тебя равнодушно, как на пугало. Вокруг — лес, старый, высокий, с запахом смолы и хвои, который в жару густеет до звона. Птиц — тьма, но они не кричат, как городские, а говорят — короткими фразами, вполголоса, будто боятся спугнуть тишину.

Мы туда приезжали каждый год. Каждый раз в июле, на две недели, — снимали комнату у старухи в деревне за пять километров, которая звала нас «детки» и оставляла на крыльце молоко в крынке, а мы жили в палатке у берега, купались, жарили на костре картошку и забывали, что в мире есть что-то, кроме воды, леса и друг друга.

Последний раз мы приехали туда в июле. Кате было семь.

Это был хороший день. Я помню его весь — по-настоящему весь, до последней песчинки, потому что так бывает: жизнь отдаёт тебе день целиком, без остатка, будто знает, что больше не даст ничего похожего.

Утром мы купались. Вика ныряла с разбега, как девчонка, — и Катя ныряла за ней, и они обе выныривали с криками, с мокрыми волосами, с такими лицами, что я просто стоял по колено в воде и не мог надышаться. Потом жарили на костре хлеб на палочках — Катя свой сожгла, Вика свой испекла идеально, а мой упал в золу трижды, и Катя объявила, что «папины не получаются, потому что папа всё время отвлекается на нас». И это была правда.

После обеда Катя уснула в гамаке, утомлённая водой и солнцем, и мы с Викой сидели рядом — она положила голову мне на плечо, и я слушал, как она дышит, ровно, спокойно, как дышит человек, который счастлив и знает, что счастлив. Такие моменты не повторяются. Их можно только помнить.

Я не знал тогда, что запоминаю этот день. Он запоминался сам — как запоминается последнее фото на плёнке, когда

уже понимаешь, что скоро кончится. Вика положила голову мне на плечо, Катя сопела в гамаке, вода дышала за спиной — и какая-то часть меня, та, что живёт не в голове, а в костях, снимала всё это дрожащей рукой. Она всегда снимает дрожащей рукой — от этого и снимает: потому что предчувствует.

И если бы я знал тогда, чем обернётся этот день, — я бы попросил её снять ещё раз. Не жалеть плёнки. Не жалеть ничего.

— Никита, — сказала она вдруг, не открывая глаз.

— М?

— Что бы ты сделал, если бы мог всё изменить?

Я не понял вопроса сразу.

— Изменить? Что именно?

— Всё. Любое. Прошлое, будущее, себя. — Она пошевелилась, устраиваясь удобнее. — Ну вот, скажем, вернуться назад и сделать так, чтобы всё пошло по-другому. Сменил бы что-нибудь?

Я подумал. Честно подумал — не для красного словца, а по-настоящему, всерьёз, всматриваясь в себя, как всматриваются в воду, надеясь увидеть дно.

— Нет, — сказал я. — Ничего бы не стал менять.

Она открыла глаза и посмотрела на меня с удивлением.

— Да ладно. Совсем ничего? Ни одной ошибки?

— Ни одной. — Я поцеловал её в мокрые волосы. — Знаешь почему? Потому что каждая моя ошибка привела меня

к тебе. Поменяю одну — и, может, не встречу.

Она засмеялась — тихо, в плечо мне, чтобы не разбудить Катю.

— Это, — сказала она, — самое красивое, что ты мне говорил за восемь лет. И самое неправдоподобное.

— Почему неправдоподобное?

— Потому что все так говорят. А потом живут и мечтают, чтобы что-нибудь поменять. — Она замолчала на секунду. — Что имеем — не храним, потерявши — плачем. Так всегда бывает.

— У нас не будет, — сказал я. — Мы не такие.

Она посмотрела на меня. Долго. Так, как смотрят, когда хотят запомнить лицо — не черты, а свет, который из него идёт.

— Нет, — сказала она тихо. — Мы не такие.

А вечером Катя проснулась, съела три картошки из золы, объявила, что она теперь «непревзойдённый повар», и полезла рисовать. Она рисовала всегда — на всём, что попадалось: на песке палкой, на запотевшем стекле пальцем, на бумаге — чем придётся. Мы уже привыкли, что за ужином на столе рядом с тарелкой лежит её «шедевр», и никто не ест, пока не похвалит.

В тот вечер она нарисовала птицу.

Большую, чёрную, с сложенными крыльями, которая сидела на ветке и смотрела прямо на нас — так казалось, что смотрела прямо на меня. Не злую. Не добрую. Просто смот-

рела — так, как смотрит тот, кто знает о тебе всё и не собирается ничего тебе говорить.

— Что это у тебя, Катюша? — спросила Вика, заглядывая через плечо.

— Ворон, — сказала Катя спокойно, не поднимая глаз от рисунка. — Он мне приснился.

Я замер.

— Ворон? — переспросил я, стараясь говорить ровно. — А что он делал?

— Ничего. Просто сидел. И сказал, что будет охранять. — Она дорисовала ему лапки. — Он сказал: «Пока я здесь, ничего страшного не случится».

Вика посмотрела на меня через стол — и я увидел в её глазах ту самую тревогу, которую она всегда прятала за улыбкой, когда я рассказывал ей про свои сны. Она ничего не сказала. Она сделала вид, что увлечена рисунком: «А какая у него красивая шея. Смотри, как ты перья нарисовала». Катя засмеялась и начала объяснять, как надо рисовать перья, «чтобы они были как настоящие, не как картошка».

А я сидел и смотрел на ворона на бумаге.

Ночью мы с Викой сидели у костра. Катя давно спала в палатке, дыша ровно, как дышат только дети после целого дня воды и солнца, и огонь трещал, и над озером стояла такая тишина, что казалось: звёзды можно снять рукой, как яблоки.

— Ты ведь мне так и не рассказал, — сказала Вика вдруг. Она смотрела в огонь, и огонь смотрел на неё. — Про тот

кошмар. Со вторника. Ты тогда неделю не спал, я всё видела, я не слепая, Никита.

Я молчал. Дрова потрескивали.

— Я не буду спрашивать, — сказала она тихо. — Я только скажу тебе одну вещь, а ты послушай и не спорь, потому что спорить тебе со мной бесполезно, ты сам знаешь. Если с нами что-то происходит — мы должны знать вместе. Не «я скажу, когда будет безопасно». Вместе. Ты меня женил на себе, а не на удобной версии себя.

— Ничего не происходит, — сказал я.

— Я знаю, что ничего. — Она повернулась ко мне, и в её глазах отражался огонь — маленький, живой, домашний. — Но если когда-нибудь произойдёт — я хочу знать сразу. Не потому что смогу помочь. Потому что не смогу. Это разные вещи, и вторая страшнее.

Потом она посмотрела на палатку, где спала Катя, и добавила — уже совсем тихо, почти не мне:

— И пусть охраняет. Твой ворон. Пусть хоть кто-нибудь из этого дома спит спокойно.

Я тогда не понял, о чём она. Я понял позже — слишком позже, когда охранять стало некому и не от кого. Викины слова я всё это время носил в себе, как носят заряженное ружьё: страшно, тяжело, а разряжать жалко.

В ту ночь я уснул быстро — утомлённый водой, солнцем и счастливым днём, таким, какие бывают раз в жизни и запоминаются на всю жизнь именно потому, что больше не по-

вторяются.

И мне приснилось то, что я так боялся увидеть снова.

Дом. Наш дом. Наши двери.

Двое. Молча. Без церемоний.

Мужчина с рукой, протянутой к Вике. Женщина с кротким лицом, повернувшаяся к Кате.

Я кричал. Беззвучно.

И на этот раз — впервые за все мои сны — они меня заметили.

Мужчина обернулся. Медленно. Так, как оборачиваются те, кто не боится ничего на свете, потому что ничего на свете не может им сделать.

Я не видел его лица. Я никогда не видел их лиц — они переливались, как вода, как масло на воде, как хамелеоны на цвете, и в этом не было ни злобы, ни ненависти — только полное, абсолютное отсутствие человеческого. От этого отсутствия хочется кричать громче всего.

И он сказал мне — спокойно, без единой эмоции, как говорят «проходите» в поликлинике:

— Ты наш.

И я проснулся.

Мы уезжали с Купата на следующий день. Я вёл машину молча, Вика сидела рядом и смотрела в окно, Катя спала на заднем сиденье, обняв куклу и своего ворона — она настояла, чтобы рисунок поехал с нами, «он же наш охранник, как мы его бросим».

И всю дорогу — четыреста километров тишины, шоссе, повороты, заправки — я думал об одном.

О том, что сон сбудется.

И о том, что если сбудется один сон, то сбудутся и остальные.

А остальные я ещё не видел. Но они уже шли ко мне — как гости идут на свадьбу: сначала долго, потом разом, потом — все сразу.

Глава 5

ГЛАВА 5. ПРИШЕДШИЕ

Расскажу теперь о том дне, которого я боялся больше всего на свете. О дне, когда сон перестал быть сном.

Третье ноября. Вторник. Обычный ноябрьский вечер — серый, короткий, с запахом мокрых листьев и первого печного тепла. Мы ужинали. Катя рассказывала про школу — про то, как они рисовали осень и как у Мишки получилась «не осень, а каша», и Мария Сергеевна сказала «это тоже осень, Миша, у каждого своя», и Мишка обиделся, но потом не обиделся, потому что Мария Сергеевна дала ему красную краску. Вика слушала, улыбалась, подкладывала Кате салат — «съешь ещё ложечку, в салате витамины». Я сидел и смотрел на них обоих и думал о том, как мало нужно человеку для счастья: стол, две родные головы, чай, надоевший до дыр салат.

Как мало. И как беззащитно.

А за несколько минут до звонка мир трижды сказал мне, что идёт. Я не услышал — а он сказал. Я считаю себя наблюдательным человеком, я всю жизнь замечал, где что сдвинуто, — и всё равно не услышал. Так бывает, когда тебя предупреждает не человек, а сам мир: он говорит слишком тихо, потому что не хочет, чтобы ты передумал.

Первый раз — улица. За окном вдруг стало не тише, а ров-

нее. Как выключают музыку: не замолчало — сравнялось. Машины на нашей улице обычно ревели и дребезжали до самой ночи; в тот вечер они почему-то шли без звука, как по тонкому льду.

Второй раз — Барсик. Собака соседа, лай которой был главным часовым нашего двора: он лаял на всё — на тучи, на курьеров, на ветки, на собственную тень. И вот я поднял голову от чая — и понял, что я двадцать минут не слышал Барсика. Он не утих. Он замолчал. Впервые за три года.

И третий раз — часы. Наши настенные, ходившие безотказно с самой свадьбы. Я посмотрел на них машинально — и они казались мне немного чужими. Стрелки стояли на месте — секунду, две, три, — а потом, словно вспомнив себя, пошли дальше. «Тик. Тишина. Тик». Я списал это на глаза, на усталость, на всё, на что списывают.

Четвёртый раз предупредила Катя. Она вдруг отодвинула тарелку — не доев, что с ней случалось редко, — и посмотрела на меня снизу вверх серьёзно, как смотрят дети, когда им что-то приснилось и они не знают, как это назвать:

— Пап, а за окном никого нет. Совсем никого нет. Ты выглянешь?

Я выглянул. Улица стояла пустая — ни людей, ни машин, ни воробьёв, ни Барсика, ни даже ветра. Просто пустая, как декорация после съёмок.

— Разошлись все, — сказал я Кате и улыбнулся. — Ужин у всех важный.

Она не улыбнулась. Она смотрела на меня ещё секунду — и в этой секунде она знала то, чего не знала я: что смотреть скоро будет не на что.

Дверной звонок раздался в восемь сорок.

Мы переглянулись. В такое время к нам никто не приходил без предупреждения — соседи звонили днём, друзья — в выходные, курьеры — по расписанию. Восемь сорок вторника — время, когда мир сидит по домам и не ходит в гости.

— Наверное, сосед, — сказал я, вставая. — У него опять розетки.

Я открыл дверь.

На пороге стояли двое.

Мужчина в тёмном пальто. Женщина в сером плаще, с кротким лицом, как у сельской учительницы, — и от этого лица, от его мягкости, от его кротости у меня похолодела спина. Потому что я их уже видел. Во сне. Точно таких. Точь-в-точь.

— Добрый вечер, — сказал я. Голос мой не дрогнул — я горжусь этим до сих пор, хотя тогда это было не мужество, а шок, который умеет держать спину прямее любых тренировок. — Вы к кому?

Женщина улыбнулась. Улыбка у неё была правильная — по размеру, по ширине, по всем канонам улыбок, — и от этой правильности хотелось бежать. Улыбка не живого человека. Улыбка, выученная по учебнику.

— Мы к вам, — сказала она.

И вошли. Не спросив. Не торопясь. Просто вошли в нашу прихожую, как входят у себя дома, — и я услышал, как за ними тихо, мягко закрылась дверь. Сами. Никто её не трогал.

И когда они вошли, я почувствовал запах.

Краска. И старая капуста.

Тот самый запах. Из того самого коридора, с которого всё началось, — длинного, крашеного, с линолеумом в разводах. Я стоял в своей прихожей, между шкафом и вешалкой, и нос мой узнал его раньше, чем голова успела испугаться. Я писал себе в записках: сны не пахнут краской. А они пахли краской. Они пахли тем коридором.

Потом, много позже, я пойму и это: они не приходили ко мне в первый раз той ночью, когда я проснулся за рулём. Они позвали меня в коридор — как зовут в гости те, кто показывает дом, в котором тебе предстоит жить. Я не пошёл за ними. И тогда они пришли сами.

— Вика, — сказал я, не оборачиваясь. — Уведите Катю в комнату. Быстро.

Я слышал, как она встала, как стул скрипнул, как Катя спросила: «Мам, а что это?» — и как Вика ответила ровным голосом, который не оставлял вопросов: «Ничего, солнышко, пойдём умоемся». Они ушли вглубь квартиры. Слава богу, она послушала меня сразу — за восемь лет брака она научилась читать мой голос так же, как я её взгляд.

В прихожей стояли двое и смотрели на меня.

— Кто вы? — спросил я.

— Ты знаешь, кто мы, — сказал мужчина. Голос у него был ровный, как поверхность воды в безветрие. — Ты видел нас.

— Уходите из моего дома.

— Дом — не наш и не твой, — сказал он. — Дом — это стены. Мы пришли не к дому.

Он сделал шаг вперёд. Я не отступил — хотя всё во мне кричало отступить, бежать, открывать окно, прыгать с балкона, делать что угодно, лишь бы не стоять здесь и не смотреть, как это случается.

— Что вы хотите? — спросил я.

— Поговорить, — сказал он. — Сначала поговорить. Потом забрать.

— Забрать что?

Женщина с кротким лицом подняла на меня глаза. И впервые за вечер я посмотрел ей прямо в лицо — и увидел то, от чего у меня к горлу подступил холодный, железный ком.

Её лицо переливалось.

Не так, как переливаются черты у человека на старой киноплёнке — от движения, от света. Оно переливалось само, без причины, как вода, как ртуть, как отражение в искривлённом стекле: скулы менялись, губы вытягивались, глаза то становились карими, то серели, то гасли совсем, оставляя белое, пустое, ничьё.

И — я уверен в этом до сих пор — я был единственным

на свете, кто это видел. Если бы в прихожую вошёл сосед, если бы заглянул участковый, если бы смотрела сама Вика — они увидели бы обычную пару. Приятных людей. Вежливых. Опрятных. Тех, с кем не страшно остаться в одном лифте. А я видел — и не мог ничем доказать, что вижу.

— Ты особенный, — сказала она. Голос у неё был тёплый, как тёплое молоко, и от этой теплоты меня выворачивало. — Мы долго тебя искали.

— С чего вы взяли, что я особенный?

— Ты путешествуешь, — сказала она. — Ты ходишь по своим годам, как ходят по своей квартире: на кухню, в ванную, в детскую. Кто дал тебе на это право?

— Никто, — сказал я. — Оно само.

— Значит, кто-то дал его твоей крови, — сказала она, и её лицо на секунду стало очень старым — морщины пошли волнами, как круги по воде. — А кровь, которая помнит время, — это не твоё право. Это наш инструмент. Мы пришли его забрать.

И тогда я услышал за спиной шаги.

Вика.

Она не ушла в комнату. Она — я знал это её сердце, я знал её до последней клеточки — не могла остаться в стороне. Она вышла в коридор, за ней на цыпочках семенила Катя в мокрых после умывания волосах, и они обе остановились в трёх шагах от меня, и Катя спряталась за маму, схватив её за халат двумя руками, как цеплялись когда-то за меня, когда

я нёс её мимо большой собаки.

Мужчина повернулся к ним. Медленно. Спокойно. Как поворачиваются к погоде.

— Нет! — крикнул я и бросился между ними.

Он не стал бороться со мной. Он просто протянул руку — мимо, через моё плечо, как протягивают руку через забор, — и положил ладонь на голову Вики.

Ладонь — на голову моей жены.

Я успел увидеть, как расширились её глаза, как она поняла всё — всё сразу, без слов, без объяснений, — как её губы начали складываться в моё имя.

И не успела.

Она осела. Просто осела, как марионетка, у которой разом перерезали все нити, — и упала бы на пол, если бы я не подхватил. Я поймал её, опустил на пол, прижал к себе, к её лицу, к её вискам — живая, тёплая, она просто спит, она просто спит, она просто спит, — и услышала за спиной тихий, деликатный шаг.

Женщина шла к Кате.

— Не подходи к ней! — я вскочил.

Катя стояла у стены. Она не плакала. Она смотрела на лежащую маму, потом на меня, потом на женщину — и в её глазах было то, от чего у меня внутри всё оборвалось: она не понимала, что происходит. Ей семь лет. Ей семь лет, и она не должна понимать такое никогда.

Женщина наклонилась к ней. Ласково. Как наклоняются

к ребёнку в поликлинике.

— Здравствуй, Катенька, — сказала она.

И положила руку ей на голову.

Я закричал — вслух, по-настоящему, так, что сорвало горло, — и бросился, и успел схватить женщину за плечо, и почувствовать под ладонью не ткань, не тело — что-то другое, холодное, текучее, как река зимой, — и тогда мир вспыхнул белым.

Я упал. В темноту.

Последнее, что я слышал, — это тихий, ровный голос где-то очень далеко:

— Спи, Никита. Мы вернёмся за тобой, когда ты проснёшься.

Глава 6

ГЛАВА 6. ПРОБУЖДЕНИЕ

Я очнулся в своей кровати.

Утро. Светло. За окном — серый ноябрь, тот же самый, что был вчера, только чуть солнечнее. Рядом, уткнувшись носом в моё плечо, спала Вика. Живая. Тёплая. Дышащая.

Я лежал и не двигался. Не дышал почти. Просто смотрел на неё и ждал, когда что-нибудь изменится: когда проснётся, когда заговорит, когда мир покажет мне, что всё было страшным сном, кошмаром, усталостью, чем угодно, — лишь бы не правдой.

Она проснулась сама. Через минуту. Потёрлась носом о плечо, пробормотала: «Доброе», — и я чуть не заплакал от этого слова. Просто «Доброе». Как тысячу раз.

— Вика, — сказал я. — Ты вчера… что ты помнишь о вчера?

Она открыла глаза и посмотрела на меня с недоумением.

— Что — вчера? Обычный вечер. Ужинали, Катю укладывали… Ты что, опять кошмар видел?

— А потом? Что было потом?

— Потом? Потом мы легли спать, милый. — Она зевнула и потянулась. — Что с тобой? Ты весь горишь.

Я лежал и молчал. В голове — как в разбитом шкафу — сыпались, сталкивались, падали мысли, и ни одной я не мог

поймать и удержать.

Они стёрли её память. Стёрли вечер. Стёрли вторжение, падение, крик, всё — так аккуратно, что от событий не осталось ничего, кроме моего кошмара. Если бы я не видел этого сам — я бы поверил, что мне приснилось. Я бы лечился. Я бы пил таблетки, назначенные дядей-психотерапевтом, и через год рассказывал бы на вебинарах про «синдром навязчивых фантазий».

Но я видел. И это знание стояло во мне, как стена: тонкая, но глухая.

Я встал. Умылся. Побрился — медленно, глядя в зеркало, проверяя себя на целостность, как проверяют дом после грозы: выдержал? не треснул? Идёшь, живой.

Катя проснулась с криком.

Не с обычным детским криком «мам, я встала» — с криком ужаса. Мы с Викой вбежали в детскую одновременно, и она сидела на кровати, вжавшись в спинку, с дикими глазами, и прижимала к себе одеяло, как щит.

— Они приходили, — сказала она. — Ночью. Приходили люди. Мама упала. Я упала.

Я сел перед ней на корточки и взял её за руки. Руки дрожали — маленькие, тёплые, с обкусанными ноготками.

— Катюша, — сказал я ровно. — Никто не приходил. Тебе приснилось. Мама вот — живая. Я вот — живой. Всё в порядке.

Она смотрела на меня — и в её глазах было то, чего я

не видел у неё никогда: знание. Взрослое, страшное знание, которое не должно жить в семилетней голове.

— Ты не веришь мне, — сказала она тихо.

— Верю, — сказал я. — Верю. Но это был сон, Катюша. Просто сон.

— А тебе тоже приснилось? — спросила она. — Тебе тоже?

Я молчал.

Вика села рядом с дочкой, обняла её, прижала к себе: «Что за сны у нас с тобой, а? Ты чего боишься?» — и Катя уткнулась ей в плечо, и я смотрел на них — на двух самых дорогих мне людей на свете — и понимал, что случилось что-то, что я не могу объяснить ни ей, ни себе.

Они помнят. Обе. В какой-то глубине, под слоем стёртого, — помнят. Их стёрли не до конца. Или стёрли так, что память осталась жить не в голове, а где-то глубже — в теле, в костях, в снах.

И Катя больше не рисовала ворона.

Ни в тот день. Ни на следующий. Ни через неделю. Альбомы лежали нетронутые, краски высохли, и когда я спросил её как-то вечером, за ужином, — «а где твой ворон, который охранял?» — она посмотрела на меня пусто, так, как смотрит человек, у которого стёрли любимую игрушку, и ответила:

— Какой ворон?

И вот тогда я начал готовиться.

Я не знал, что готовлюсь. Я просто делал то, что подсказывало тело, как делает зверь перед бурей: проверял замки, считал деньги, учил карту города, подкладывал в сумку документы, писал записки — адреса, телефоны, имена — и прятал их в такие места, где их не найдёт никто, кроме меня самого в другом году.

Я готовился к бегу.

Две недели мы прожили так, как живут перед грозой: заботясь о мелочах, на которые в нормальной жизни внимания не тратят. Я дежурил по ночам — не выходя из себя, просто слушал дом: где скрипнула ступенька, где щёлкнул замок, где прошла по коридору Вика — её шаг я узнавал раньше, чем просыпался. С двух до четырёх я не спал никогда. Не потому, что знал, когда придут. Потому что никто не знает — а я больше не хотел узнавать разом.

Я выучил квартиру на секунды. Сколько шагов от двери до окна — одиннадцать, если спотыкаться о коврик, семь, если снять. Сколько времени занимает закрыть кухонную дверь — три секунды. Куда выйти, если подъезд занят, — пожарная лестница, третья площадка, окно у мусоропровода. Я выучил это так, как учат таблицу умножения, — чтобы в тот день, когда знания понадобятся, они не искались, а доставались.

Однажды ночью ко мне пришла Катя. Не спросилась — вошла, как входят те, кому тут можно, и встала у кровати в своей пижаме с машутками, и сказала шёпотом:

— Пап. А ты нас защитишь?

— Защищу, — сказал я без паузы. Дети слышат паузы; у взрослых паузы в голосе, а у детей — в сердце.

— А если не получится?

— Получится, — сказал я. — Тебе что, приснилось?

Она помолчала.

— Да, — сказала она и ушла. Она не рассказала сон. Дети рассказывают сны — хорошие. Про плохие они молчат, потому что плохие они видят ещё и наяву.

А Вика начала запирать дверь на два оборота. Она делала это молча, вечером, проверяя замок вторым поворотом, — и, когда я спросил, зачем, она ответила, не задумываясь:

— Не знаю. Рука сама. — И посмотрела на меня. — Никита, у тебя было время рассказать мне что-нибудь важное. Ты его потратил. Я не спрашиваю. Но знай: я запираю дверь, потому что мне страшно, и я не знаю, от чего, — а это хуже всего, потому что от известного можно закрыться, а от неизвестного не закроешься.

Я тогда не сказал ей. Я знал только одно: то, что мне нужно было сказать, нельзя было сказать словами — словами это будет выдумка. Я откладывал. Так иронично устроена жизнь: ту самую правду, которую она бы приняла, я держал при себе ради её же покоя, а покой кончился бы в один вечер, и был бы он не хуже, чем правда, — только бы их не стёрли. Не стёрли бы — я бы всё ей рассказал тогда же, на кухне, у остывшего чая.

И я писал записки. Адреса, имена, телефоны, кодовые слова — «куматиться», «звонить в луну», «костюм до завтра» — и прятал их там, где не найдёт никто: в коробке с ёлочными игрушками, за батареей, в двойном дне Катиного ящика. Я писал их, как пишут завещания, — только наследство было не имущество. Наследством были они. Я оставлял им себя — на случай, если себя не оставлю.

Это были самые тихие две недели моей жизни. Я помню их так, как помнят, наверное, последние дни отпуска: всё вроде хорошо, ничего не происходит — и от этого хорошо, и от этого же страшно.

И он случился через две недели.

Глава 7

ГЛАВА 7. ПЕРВЫЙ БЕГ

Они пришли снова.

Не ночью, как во сне, — днём. В четверг, в половине четвёртого, когда я вернулся из магазина, а Вика с Катей были во дворе — катать Катю с горки, что ли, я не помню уже деталей, помню только, что их не было дома, и я остался один, и это, как потом выяснилось, спасло всех.

Я открыл дверь — и увидел их.

Тех же. Мужчину в тёмном пальто и женщину с кротким лицом. Они стояли на лестничной площадке — спокойно, как стоят в очереди, — и смотрели на меня с той ровной, бездонной вежливостью, которая страшнее любой злобы.

— Здравствуй, Никита, — сказала женщина. — Ты готов?

— К чему? — спросил я.

— К тому, что мы придём за тобой, — сказал мужчина. — В любой день. В любой час. Ты можешь убегать, но мы найдём. Ты можешь прятаться, но мы выследим. Мы не торопимся, Никита. У нас — вся вечность.

— А у меня — семья, — сказал я.

— У тебя была семья, — поправила женщина мягко. — Теперь у тебя — мы.

И дверь закрылась. С той стороны. Сами.

Я стоял в прихожей и слушал, как за дверью стихают шаги

— а их и не было, я понял это через минуту: они не уходили по лестнице, они просто исчезли, как исчезает сон после пробуждения, — и в голове моей, как метроном, стучала одна фраза: «У тебя была семья».

Не «есть». Была.

В тот же вечер мы уехали.

Не «уехали отдохнуть», не «уехали к маме», не «уехали в отпуск» — просто уехали. Я собрал сумки за сорок минут, пока Вика собирала Катю, и мы сели в машину и поехали — сначала на юг, потом на запад, потом просто «куда глаза глядят», как говорят в книжках про войну, которые я в детстве читал и не верил, что такое бывает не только в книжках.

Вика не спрашивала.

Она сидела рядом, держала меня за руку на рычаге передач — так, между нашими руками, — и смотрела на дорогу. Иногда спрашивала: «Дальше прямо?» — и я отвечал: «Прямо». И всё. Это был весь наш разговор на четыреста километров.

На бензоколонке в двухстах километрах от дома Катя проснулась — от заправочного запаха, от резкого тормоза, от того, что мир начал двигаться. Она села, потёрла глаза и спросила:

— А мы куда?

И Вика — я запомнил это на всю жизнь — не вздрогнула. Она поправила Катин капюшон и сказала ровно, как говорят о погоде:

— В отпуск, Кать. В длительный.

— Отпуск — это когда море?

— Нет. Отпуск — это когда мы вместе.

— Тогда ладно, — сказала Катя, и это «ладно» было по-взрослому окончательным, как приговор. — Тогда ладно.

Она уснула снова, примостив куклу подмышкой, как подушку. А я смотрел на Вику — на её руки на руле, на профиль в темноте — и думал о том, что взрослые учат детей врать, считая, что это защита. И что Вика соврала не ей. Она просто выбрала ту правду, которую можно было произнести вслух: «мы вместе». Это и была правда. Всё остальное — ведомости, которые заполняют для внешних организаций.

Так мы ехали. Молча. Свет фар обгонял темноту — и темнота догоняла, — и я думал о том, что первые в жизни люди, которых я так боялся потерять, сидели в этой машине, и я не знал, как и когда их потеряю, — только знал, что потеряю, если не сделаю того, что собирался.

Катя спала на заднем сиденье, обняв куклу и рисунок ворона — она нашла его за диваном, где он лежал две недели, и с тех пор не выпускала из рук. «Он наш охранник», — сказала она, укладываясь. И я впервые за месяц подумал, что, может быть, она права.

Мы остановились в первом же городе, где была гостиница. Мотель на трассе, «Люкс» за восемьсот рублей — с ковролином в пятнах, с телевизором, ловящим два канала, с бойлером, который гудел, как трактор. Мы легли втроём на од-

ной кровати — Катя посередине, мы с Викой по бокам, — и я лежал, глядя в потолок, и слушал, как дышат мои девочки, и думал: вот оно, моё счастье. Мотель на трассе. Ковролин в пятнах. Две родные головы рядом. Всё, что мне нужно на свете, — вот оно, лежит рядом со мной, дышит, спит, доверяет.

И заснул.

Катя ещё не спала минут десять. Она лежала между нами, перебирая пальцами одеяло, — и вдруг запела. Полушёпотом, носом, как поют самые маленькие, когда им на самом деле хочется спать, а спать нельзя, потому что день был слишком хороший: про медведя, который вылез из берлоги и стал смотреть, где солнце.

Она пела плохо. Она перевирала каждое третье слово и путала местами строчки, и от этого песня была не песней, а рисунком голоса — и мы лежали и слушали.

— Кать, а зачем он в берлоге спал? — спросил я тихо, чтобы не спугнуть.

— Потому что зима, пап. Зимой все спят. А медведь — сильнее всех спит, потому что он большой. Ему надо много спать, чтобы потом весь год не спать.

— А что он делает весь год?

— Всё. Ходит, ест, ищет. Не спит. — Она зевнула. — Это очень утомительно, пап. Не спать целый год.

И я засмеялся — по-настоящему, впервые за месяц. Смех вышел из меня, как воздух из пробитой шины: свистнул —

и полегчало. «Медведь — сильнее всех спит». Я думал тогда о том, что скоро мне, возможно, придётся стать таким медведем — не спать год, искать, есть, ходить, — и что моё детское знание об этом знало раньше меня. Дети всегда знают раньше. У них просто нет слов.

— Тише, а то разбудишь всех медведей, — сказала Вика, целуя Катю в макушку. — Спи давай, солнце. Зима. Все спят.

Впервые за две недели мне по-настоящему хотелось спать — без снов.

И мы легли. И лампа над кроватью горела оранжевым, как костёр, и мотель за окном молчал, и Катя, засыпая, бормотала что-то про солнце и медведя, и я смотрел в потолок и думал: вот он, мой медведь-год. Начинается.

А проснулся — не в мотеле.

Я очнулся в своей квартире. За девять лет до того. В теле того Никиты, который ещё не знал ничего: ни про сны, ни про «Разум», ни про то, что его семья обречена. Я лежал в своей старой кровати, в своей старой квартире, рядом никого не было: девять лет назад я ещё жил один, — и за окном серело такое же серое утро.

Я сел на кровати и не понял сначала, что со мной.

Потом понял.

Сон выбросил меня назад. Не в детство, не в юность — на девять лет назад. В самое себя, двадцатипятилетнего, — к человеку, который ещё был счастлив и ещё ничего не знал.

И тут в голове моей, как вспышка, загорелась мысль, ко-

торая изменила всё.

Если я могу вернуться в прошлое — я могу изменить прошлое.

Если я могу изменить прошлое — я могу спасти их.

Глава 8

ГЛАВА 8. ПРАВИЛА СНА

Прежде чем двинуться дальше, я должен рассказать вам о правилах.

Правилах моего сна. Я узнавал их постепенно, как узнёшь новый город: сначала блуждаешь, потом запоминаешь улицы, потом начинаешь ориентироваться без карты. Правил оказалось пять. Я называю их «правила сна», и вот они.

Правило первое. Я попадаю только в своё тело. Не в чужое, не в тело другого человека, не в тело призрака — только в своё, в любом возрасте. Я могу стать собой-ребёнком в песочнице, собой-студентом на лекции, собой-мужчиной тридцати лет, покупающим хлеб. Но я не могу стать никем другим. И это, как я понял потом, — самая большая из моих несвобод.

Правило второе. Я не выбираю, куда попадать. Сон решает сам. Я могу думать о месте, о годе, о человеке — и иногда, если эмоции сильны, сон слушается. Но чаще он бросает меня туда, куда сам считает нужным — и там мне приходится разбираться: какой это год, где я, что вокруг.

Правило третье. Время в «настоящем» идёт своим чередом, пока я сплю. Если я сплю восемь часов — восемь часов проживают Вика и Катя без меня. Если я сплю сутки — сутки. Я не могу замедлить их время, ускорить своё, догово-

риться с часами. Мы живём в разных темпах, и это — как жить с семьёй в разных городах, только города эти — годы.

Правило четвёртое. Всё, что я меняю в прошлом, меняет настоящее. Но не сразу. Мир перестраивается, как весенний лёд: сначала трещит, потом ломается, потом — новая вода. И я не всегда знаю заранее, что именно сломается и как.

Правило пятое. Самое страшное. Я помню всё. Все ветки. Все реальности. Все свои жизни, которые я прожил и которые потом отменил, — я помню их так же ясно, как эту, настоящую. Я помню свою свадьбу дважды. Я помню первое слово Кати в двух вариантах. Я помню, как хоронили дядю Семёна, — тоже дважды, и те похороны были разными до последней детали. И от этого в голове моей живёт не человек, а целый музей, в котором все экспонаты — я сам.

Вот такие правила.

И — да, я попробовал.

В первую же неделю после пробуждения в прошлой жизни я сделал то, что собирался с самого начала: нашёл себя, девять лет назад, на улице, где я познакомился с Викой.

Это было несложно. Я знал этот день наизусть: двадцать третье августа, семь вечера, угол у театра, ливень только что кончился, асфальт блестит, и я — тот, молодой, — стою под козырьком и жду, пока кончится дождь, хотя дождь уже кончился, а я просто не хочу уходить, потому что мне хорошо.

Он стоял там. Я стоял напротив — в капюшоне, в тени дерева, стараясь не дышать слишком громко.

И тогда я сделал то, что должен был сделать.

Я вышел из тени, подошёл к нему — к себе, двадцатипятилетнему, дождливый вечер, — и сказал:

— Не жди. Она не придёт.

Он посмотрел на меня — сначала с недоумением, потом с той вежливой настороженностью, с которой взрослый мужчина смотрит на странного человека, заговорившего с ним на улице.

— Простите? — сказал он.

— Она не придёт сегодня. И никогда. Уходи отсюда. Прямо сейчас. Налево, на улицу, к метро. Не оборачивайся. Просто уходи.

Он смотрел на меня ещё секунды три — и я видел в его глазах, как шевелится мысль, которую я знал наперёд: «Псих какой-то». Потом он пожал плечами, шагнул с тротуара и пошёл.

Налево. К метро.

Не оборачиваясь.

Я стоял под деревом и смотрел ему вслед, и сердце моё колотилось так, что я слышал его в ушах, как барабан. Я только что вырвал из своей жизни человека, который через восемь лет станет отцом Кати. Я только что изменил мир.

И мир изменился.

Не громко. Не с громом. Тихо. Как гаснет лампа — не сразу, а через секунду после щелчка.

Я стоял, и ливень начался снова — по-настоящему, мел-

кий, осенний, — и я стоял под ним, не прячась, и смотрел на угол театра, где больше никто не стоял.

Я сделал это.

Я спас их.

Я так думал.

Дальше были ночи попыток. Я ложился — в мотелях, в машине, в чужих кроватях за наличные, — с одним намерением: вернуться в тот день и сделать всё заново, аккуратнее, умнее. Первую ночь сон не повёл меня никуда: я лежал в темноте и видел потолок, обычный, мотельный, с трещиной в виде реки. Сон как будто обиделся. Или выжидал.

Вторую ночь выбросило в мой собственный день рождения, лет мне девять: я дул на свечи, а за столом сидели дядя Семён и тётя Люда, и дядя Семён сказал: «Расти большой, Никитушка», — и я, девятилетний, посмотрел на него глазами тридцатипятилетнего и заплакал прямо в торт, и проснулся в мотеле с мокрым лицом. Не туда. Не то.

Третью ночь я почти не помнил. Помню только запах — краски и старой капусты, — и голос, который сказал: «Ещё рано». И всё.

А на четвёртую ночь сон понял меня. Или я его. Он открыл дверь — но не в тот день у театра. Он открыл дверь в мир, в котором Вики не было никогда.

Я вошёл в свою старую квартиру — ту, в которой жил в двадцать пять. Но квартира была не моя и не чужая. Она была никого. Пыль лежала на полках ровно, как снег на крыше,

— не тронутая, не потревоженная. На календаре — месяц моего знакомства с Викой. В холодильнике — упаковка, которую я купил бы сам, потому что я всегда покупал именно эту упаковку. Всё было похоже на мою жизнь — как манекен похож на человека. Одежда та же, поза та же, а внутри — проволока.

Я прошёл по всем комнатам и не нашёл ни одной вещи, которую бы узнал. Ни одной. Даже чашки — те, что мы пили годами, — стояли на полке чужим строем. Вы когда-нибудь заходили в квартиру, в которой живёт ваше отсутствие? Я вам скажу: это хуже, чем квартира, из которой кто-то выехал. Выехавшие оставляют следы — свет, запах, вмятину на диване. А отсутствие не оставляет ничего. Оно просто было не здесь. Всегда.

И тогда я понял, чем наказывает сон за самое страшное. Не болью. Пустотой. Боль можно носить — у боли есть вес, есть форма, есть цвет. Пустоту носить нельзя: она носит тебя. И сон это знал. Сон не мучил меня — он показывал мне, чем я торгуюсь, когда говорю «сделаю всё, лишь бы вернуть». Он показывал цену. Ценой был мир, в котором их нет вообще, — и я заплатил бы эту цену ещё раз, и ещё, и ещё, потому что пустота без них страшнее любой боли с ними.

Я вернулся в мотель и до рассвета лежал без сна, слушая, как дышат мои девочки, — как слушают радио: чтобы кто-то говорил, хотя бы помехи.

Потом я всё-таки уснул — и очнулся там же, в нашей ком-

нате, — и понял, что сон опять выбросил меня не туда. И то, что было дальше, я расскажу в следующей главе.

Глава 9

ГЛАВА 9. СТЕРЕТЬ

Нет, я ошибся.

Не в том смысле, что не сработало — сработало. Мир перестроился, как весенний лёд. Я это почувствовал ещё там, под деревом у театра: что-то в воздухе стало другим, что-то в самой земле под моими ногами зазвучало на другой ноте.

Я ошибся в другом. Я думал, что, убрав знакомство, я уберу и вторжение. Что без меня в их жизни не будет того, что пришло за мной. Что они — Вика, Катя — останутся. Просто будут жить без меня: она выйдет замуж за кого-то другого, Катя родится от него, и я буду тем, кем я был до встречи с ней, — но они будут. Живые. В безопасности.

Я думал так потому, что очень хотел, чтобы так было. А желание — плохой советчик в вопросах, где надо думать головой.

Сон выбросил меня в то же самое утро — но не в мотель на трассе, а в наш дом. В ту квартиру, где мы жили с семьёй. Я стоял в коридоре, прижавшись к стене, и слышал, как на кухне гремит посудой Вика, а в детской бормочет во сне Катя, и всё было как раньше, как всегда, как всю нашу жизнь.

Я прошёл на кухню.

Вика стояла у плиты, помешивала что-то в кастрюле, и пела себе под нос — она всегда пела себе под нос, когда дума-

ла, что её не слышат: старые песни, из её студенческих лет.

— Вика, — сказал я.

Она обернулась. Посмотрела на меня — и я увидел в её глазах сначала улыбку, потом недоумение, потом вежливое, осторожное непонимание, с которым смотрят на человека, который заговорил с тобой на улице, будто знает тебя.

— Да? — сказала она. — Вы ко мне?

Внутри у меня что-то оборвалось.

Тихо. Без звука. Как обрывается нить, когда на неё больше не держится ничего.

— Вика, — сказал я ещё раз. — Это я. Никита.

— Никита — это кто? — спросила она. Вежливо. Спокойно. Так спрашивают незнакомые люди, зашедшие не в ту квартиру.

— Твой муж. Отец Кати. Мы жили… мы живём… — Я замолчал. Я не мог договорить — от слов в горле вставал ком, и я чувствовал, как он подступает к глазам, горячее и глухое, как кровь.

Она смотрела на меня — с вежливым опасением человека, к которому в дверь постучал чужой, — и за её спиной, в дверном проёме, стояла Катя. В ночной рубашке, сонная, с растрёпанными волосами. И смотрела на меня — и я видел в её глазах то же, что видел у дочки в первый раз после вторжения: знание. Глубокое, спрятанное, отчаянное знание, которое они не могли объяснить даже сами себе.

— Мама, — сказала Катя тихо. — Кто это?

— Не знаю, солнышко, — сказала Вика, не отворачиваясь от меня. — Молодой человек, вам лучше уйти. Сейчас я вызову полицию.

— Вика…

— Уйдите, — сказала она. Голос её дрогнул — впервые за вечер, и я увидел, как в её глазах что-то шевельнулось, какая-то тень, какая-то знакомая черта, — и тут же погасло. — Пожалуйста. Не заставляйте меня звать на помощь.

Я стоял и не мог пошевелиться.

Моя жена. Моя девочка. Мой дом. Моя жизнь. Всё это — здесь, в трёх шагах от меня, тёплое, живое, настоящее, — и оно меня не знает.

Я стёр сам себя из их прошлого. Я убил не их — я убил то, что нас связывало. И теперь они смотрят на меня, как на чужого, — потому что для них я и есть чужой. Человек, который пришёл в их кухню и говорит странные слова.

— Катя, — сказал я. Голос мой дрожал — и я его не сдерживал. — Катюша. Посмотри на меня.

Она смотрела.

— Ты рисовала ворона. Сказала, что он охраняет. Помнишь?

Её глаза расширились. Губы приоткрылись. И она сделала шаг ко мне — один маленький шаг, шаг семилетней девочки, — и в этом шаге было больше веры, чем во мне самом.

— Ты… — сказала она. — Ты — тот, из сна?

— Да, — сказал я. — Я тот, из сна. Я пришёл за вами.

— Никита, отойди от дочки, — сказала Вика, и голос её уже звенел. — Сейчас же. Или я кричу.

— Вика, послушайте меня. Прошу вас. Одна минута. Умоляю.

— Уйдите.

Я смотрел на неё — и понимал, что бесполезно. Я мог бы стоять здесь неделю, я мог бы рассказать ей всю нашу жизнь, каждую деталь, каждую мелочь, каждое «доброе» по утрам, — и она не поверила бы. Потому что память не верит чужим. Память верит только себе.

И я ушёл.

А Катя? Вы спросите: если знакомства не было — откуда Катя? Отвечу так, как понял потом: «Разум» стирает память, время стирает след, но кровь не подчиняется ни тому, ни другому. Дочка помнит отца не глазами — изнутри, из крови. Помните, я говорил, что стёрли их не до конца? Вот почему.

В ту ночь я не ночевал нигде. Я ходил по городу, по которому шли мои ноги-двадцатипятилетнего, и сверял свою жизнь со списком, которого у меня не было. Дом — в моей старой квартире жил теперь чужой студент: я видел через окно его свет, его компьютер, его постер на стене. Работа — отдел, где я проработал пять лет, не признал моего имени. Охранник на ресепшене посмотрел на меня так, как смотрят на человека, который спрашивает не то.

— Вы к кому? — спросил он.

— Был здесь, — сказал я. — Давненько не был.

— Так я вас и не запомнил.

Друзья — я позвонил четверым. Трое не взяли трубку. Один снял через десять гудков и сказал: «Слушаю?» — и по голосу было слышно: он слушал человека, с которым не знаком, — вежливо, как слушают телефонных мошенников, из вежливости же и не обрывают.

Я выходил из каждого телефона, из каждой двери, из каждого чужого «слушаю?» — и с каждым шагом становился прозрачнее. Человек без истории — это не бродяга. Бродяга знает свою историю, просто не может её доказать. А я не знал свою. Моя история была уплетена в чужую жизнь, как нить в вязаный шарф: вытащишь — развалится всё.

К рассвету я понял простую вещь. Я стёр себя из их жизни — но стёрся и из собственной. Из мира, который построил своими руками, мне не оставили даже роли статиста. Это было справедливо. Я ведь и сам так распорядился — только не просчитал, что справедливость бывает жестокой по-бухгалтерски: ровно, аккуратно, без злобы, по ведомости.

И только у Кати всё ещё была нить. Тонкая, как паутина, — но живая. Она не держалась ни за дом, ни за вещи, ни за документы. Она держалась изнутри. И пока эта нить была — я знал, что ещё не всё потеряно.

Медленно. Не оборачиваясь. По коридору, мимо снимков, которых я никогда не видел, — на них не было меня ни на одном, — к нашей двери, которую я закрыл за собой своей

рукой, как закрывают дверь, за которой больше ничего для тебя нет.

Я вышел на лестничную клетку.

И там, на последней ступеньке, сидела женщина с кротким лицом.

Ждала меня.

— Ты по крайней мере попробовал, — сказала она мягко, как говорят ребёнку, который упал с велосипеда в первый раз. — Не каждый решается. Ты молодец, Никита.

— Уходите, — сказал я.

— Куда же я? — Она улыбнулась той самой выученной улыбкой. — Мне некуда уходить. Я — там, где ты. Мы — там, где ты. Мы везде, где есть время, и мы всегда придём туда, куда придёшь ты. — Она встала. — Но сегодня мы не будем тебя трогать. Сегодня ты заслужил отдых. Иди спать, Никита. Тебе нужно спать.

И я понял, что она права, — и в этом понимании было что-то такое, от чего мне захотелось кричать. Понимание того, что они всегда будут на шаг впереди, что бы я ни делал, — и этот шаг они выигрывают не силой, а временем. У них — вся вечность. У меня — один сон за раз.

Я пошёл по лестнице вниз. Медленно. Спотыкаясь о ступени, которых не видел, — в глазах у меня стояла она, Вика, с вежливым непониманием в глазах, и Катя, с растрёпанными волосами, шагнувшая ко мне.

— Ты — тот, из сна?

— Да.

Я дошёл до первого этажа, вышел на улицу. Начинался рассвет — холодный, серый, ноябрьский рассвет, который никого не согревает и от которого не ждут тепла.

И тогда я впервые подумал о том, что от «Разума» некуда бежать.

Что бежать — некуда. Потому что они — везде. В любом году. В любом городе. В любой моей жизни.

Что им некуда бежать — и мне тоже.

И что остаётся одно: перестать убегать.

И пойти им навстречу.

Глава 10

ГЛАВА 10. ДНО

В главе перед этой я сказал вам: остаётся одно — перестать убегать и пойти им навстречу. Так я думал на рассвете, у чужого подъезда, в городе, где меня больше не было. Сказал — и тут же понял, что слову «пойти» пока негде упасть: чтобы пойти навстречу, надо для начала пережить зиму. А зиму я пережил там, где не переживают зим.

Расскажу вам про дно.

Сначала — про деньги, потому что беда всегда начинается с денег. У меня было двадцать шесть тысяч триста наличными — я знал эту сумму, как знают пароль, и пересчитывал каждый вечер. Двадцать шесть тысяч — это две недели жизни, если жить скромно; десять дней, если жить честно; одна ночь, если жить в гостинице с вывеской «Люкс» и питаться в кафе «Домашняя кухня». Я выбрал жить скромно. Всё остальное выбрало за меня.

Первую неделю я жил в комнате у женщины на окраине — за наличные, без прописки и договора. Она взяла деньги не глядя, и я понял: она берёт так от всех — от тех, кто не показывает документы, и от тех, кому нечего показывать. Через восемь дней она открыла дверь и сказала: «Муж вернулся». Мужа я так и не увидел. Возможно, мужем она называла то чувство, с которым возвращает задаток в свой карман.

Машину я бросил на трассе в последний день. Она была записана на меня, а человек без истории не может ездить на машине со своей историей в номерах.

Паспорт у меня был — настоящий, мой. Я не показывал его ни разу. У паспорта есть тень: базы, кассы, камеры, регистрационные журналы — всё, куда стекается молоко человеческой жизни. А «Разум» слушает именно это. Человек с документами светится на каждом посту, как лампочка. Поэтому я жил без истории: платил наличными, не звонил, не подписывал ничего, что оставляет след.

Вы спросите: а семья? Вика с Катей жили в двадцати минутах ходьбы. Я знал адрес, помнил маршрут, мог дойти туда за те самые двадцать минут, из которых я мерил квартиру секундами. Я дошёл. Один раз. Постоял напротив подъезда — за дорогой, за лавкой, за сугробом, — и смотрел на их окна так, как смотрят на витрину, за стеклом которой живёт то, что тебе не по карману.

Я не подошёл. Не потому, что не мог. Потому что понимал: я — приманка. Там, где я, рано или поздно приходят они. То, что я люблю, они умеют использовать как наживку. Постою рядом — и придут. Не за мной. За ними.

А почему я не вернулся домой во сне — в тот ноябрь, где они живы и помнят меня? Пытался. Десять ночей подряд я засыпал с одной мыслью: верните меня в ноябрь, где они. Сон не слушался. Он бросал меня в другие годы — в очередь в универмаге, в студенчество, в детство, — в любые свои го-

ды, кроме того одного, куда мне нужно было попасть. Правило второе: сон не выбирают, сон выбирает страх. А мой страх не знал, где теперь дом.

Деньги кончились быстрее, чем я планировал, — они всегда кончаются быстрее у того, кто планировал без опыта нищеты. Я пошёл искать работу без документов. Такой работы на свете много: разгрузка, стройка, рынок — она есть везде, если не задавать вопросов и не показывать паспорт. Первые три дня я таскал мешки у овощного рынка с шести утра до темноты. Платили не деньгами — щами, хлебом и тем, что оставалось от утра. «За еду» — это не метафора. Это когда вечером тебе наливают тарелку, и ты понимаешь, что твой день стоил ровно одну тарелку, и радуешься, потому что тарелка горячая.

За ту зиму я научился трём вещам, которых не учат ни в одной школе. Спать на картоне, подложив под бок куртку. Есть медленно — не потому что мало, а потому что быстрая еда кончается. И молчать. Молчать так, чтобы молчание работало за тебя: никто не спросит у молчащего ни имени, ни паспорта, ни истории. Молчание — единственный документ, который нельзя изъять.

А потом кончились и комнаты, и я впервые ночевал на улице. Не буду врать: это не так страшно, как в кино. Это страшнее. Первая ночь на улице — это когда ты ещё не веришь, что ты здесь: ты стоишь под пекарней, у вентиляции, из которой идёт тёплый воздух с запахом теста, и ждёшь, что

сейчас всё кончится, что это плохой сон, что ты проснёшься в своей квартире, рядом Вика, за окном ноябрь, тот самый, где всё ещё можно исправить. Первая ночь учит главному правилу: не жди. Это не место. Это состояние, в котором у человека нет ни одного выхода, кроме терпения.

Рядом со мной у той же вентиляции спал Толик. Бывший инженер — он так и представился: «Толик, инженер». Ему было около пятидесяти, он был чистый — в этой жизни чистота стоит дороже золота, и за ней приходится драться, — и говорил тихим голосом человека, который отвык говорить громко, потому что некому. Он видел, что я не свой, и начал учить меня языку этой страны:

— Не спи на снегу. Снег подтаивает под спиной, а мокрый к утру — уже не человек. Спи на картоне: картон в коробках у мусорок, он всегда есть. Всё носи в одном пакете — до последней мелочи: где два пакета, там половина украдена. Не верь тому, кто предлагает работу без рук — работа без рук бывает только одна. И умывайся. Дно начинается не с грязи, Никита. Оно начинается со слова «зачем». Умываешься — ты ещё человек.

Дно — это расписание. Оно кажется хаосом, а на самом деле — расписание: в семь — очередь за пайкой у вокзала; в десять — сбор бутылок по дворам; в полдень — столовая для бездомных, если есть в городе, а в нашем была; в два — разгрузка, если повезёт; в шесть — котельная дяди Гриши, где на печке можно досушить сапоги, если дядя Гриша в

настроении. А он был в настроении всегда, потому что был одинок и потому что котельная — это тепло, а тепло, как еда, делить не жалко. Я выучил это расписание за неделю и ходил по нему, как ходят по рельсам: оно одно держит человека, когда не держит больше ничего.

Ещё дно — это очередь. Я стоял в очередях всю зиму и заметил одну вещь: в очереди за пайкой никто не толкается. Толкаются там, где есть за что бороться. Бороться тут не за что — тут ждут. Очередь эта — самая тихая на свете: люди молчат и смотрят в одну точку перед собой, и если ты посмотришь на любого из них подольше, ты поймёшь, что он ждёт не пайки. Он ждёт, когда кончится жизнь. А пайка — это так, между делом.

И ещё — это то, как ты перестаёшь смотреть людям в глаза. Это происходит само, без решения: сначала опускаешь взгляд, чтобы не видеть, как отводят свой; потом — чтобы не видеть сочувствия, потому что сочувствие здесь жжёт сильнее холода; потом — просто по привычке. Здесь не спрашивают, кто ты и что с тобой случилось. Там всем одинаково холодно, и чужая история никого не греет. Это, кстати, было самое честное место в моей жизни: мне не врали. Врать тут незачем.

Спать я боялся по двум причинам: сна — потому что он уносил меня в годы, а тело оставалось на морозе беззащитным, как оставленный на платформе чемодан; и того, что я увижу. Но сон берёт своё — у него не спросишь разрешения.

И Толик придумал дежурство: спали по очереди, по четыре часа, будили друг друга касанием в плечо — не голосом, касанием, потому что голос здесь стоит денег, а всё, что стоит денег, можно отнять.

И сны приходили. Я загадывал — каждый раз — дом. Сон отвечал годами: меня выбрасывало в студенчество — в общагу, где мы с Андреем жили бедно и не знали об этом; я ходил по коридору с лампочкой в сорок ватт и думал: мы были бедны. Боже, как мы были бедны. И я бы отдал всё за ту бедность — за коридор с лампочкой, потому что там у меня была вся жизнь впереди, а не одна ночь на бетоне.

Один раз — один за всю зиму — мне приснилось Озеро. Не путешествие: обычный сон, человеческий, как снится всем. Вода, прозрачная до дна; Катя, выныривающая с криком; Вика, смеющаяся в плечо; запах хвои и костра. Я стоял на берегу и знал, что это сон, — и всё равно стоял и смотрел, потому что сон был единственным местом, где они существовали все вместе, целиком, тёплые, в июле. Проснулся я с мокрым лицом — на бетоне, в сугробе, в двадцать пять градусов ниже нуля. Толик лежал рядом и не спросил. На дне не спрашивают.

А потом был день, который я запрещаю себе вспоминать — и вспоминаю каждый. Мороз, январь, я стоял через дорогу от школы, куда когда-то впервые вёл Катю в первый класс. В восемь двадцать из соседнего подъезда вышла Вика — с Катей за руку. Катя шагала, перескакивая через трещины в

асфальте, — она всегда перескакивала, — и на середине двора вдруг остановилась. Поставила обе ноги. И посмотрела на меня. Прямо. Через дорогу, через прохожих, через всё — так, как смотрят не глазами, а чем-то глубже глаз. Вика потянула её за руку. Катя смотрела ещё три секунды — я сосчитал, потому что счёт был всем, что у меня оставалось, — а потом Вика увела её за угол, и двор опустел.

Кровь помнит всё. Я знал это и раньше — но в тот день узнал, что это не утешение, а приговор: если она чувствует меня, значит, чувствуют и они. И мой адрес у них уже есть.

На трассе меня обгоняли машины с включёнными печками и мигающими габаритами, и в каждой сидели люди, у которых был дом. Я смотрел им вслед и не завидовал. Завидовать — это когда хочешь то же самое. А я хотел не то же самое — я хотел своё.

В тот же вечер я ушёл из города. Не скажу, что решил это красиво и по-взрослому. Я просто понял: моё место рядом с ними — это прицел, наведённый на их головы.

Перед уходом я пришёл к котельной, поблагодарил дядю Гришу — он дал мне с собой ведро картошки в мундире и сказал: «Ты, парень, не из наших. По глазам не наш. Эта жизнь тебя не удержит — удержит только земля, а земли у тебя нет». И Толик, мрачный Толик, посмотрел на меня и сказал то, что я потом носил в себе, как носят жетон:

— Уходи, Никита. И запомни: на дне все одинаковые. А ты там был чужим — потому что у тебя было, куда уходить.

Это и есть богатство, парень. Не деньги. Куда уйти.

Спросите, тяжело ли было. Отвечу честно, потому что всю эту книгу я обещал говорить честно: да. Но не так, как вы, может быть, думаете. Не холодно — холод можно терпеть. Не голодно — голод вырабатывает дисциплину. Тяжело было от того, что каждое утро я просыпался и первые три секунды не помнил, где я и что со мной, — а на четвёртую вспоминал всё, разом, как обрушивается на голову полка с посудой. Эти три секунды были самым счастливым временем моей зимы: три секунды, в которых у меня ещё была семья, дом и утренний кофе. А потом возвращалась жизнь.

А эта зима научила меня одному умению, за которое я потом был благодарен, хотя никогда не сказал бы ему спасибо: оно научило меня терпеть. А терпеть — это единственное, что остаётся у человека, когда у него отняли всё остальное. Не смелость. Не хитрость. Терпение.

В чулане, в коробке, лежит кусок картона из коробки у мусорки — тот самый, на котором я спал сорок ночей. Я не смог его выбросить. Не потому, что он дорог. Потому что он честнее всего, что я приобрёл за свою жизнь.

Глава 11

ГЛАВА 11. СВОБОДА

Прежде чем двинуться дальше — по трассе, прочь из города, где меня не было, — я должен рассказать вам о той зиме ещё одну вещь. Про дно вы уже знаете. А теперь — про другую зиму. Ту, которую сон дал мне по ночам вместо той, о которой я просил.

Помните, я говорил: я загадывал — каждый раз — дом. Сон дома не давал. Сон бросал меня по годам, как бросают кости, — и в конце концов осел в одном месте, как оседает вода: в моё двадцать третье лето. За четыре года до Викиного «Доброе». До всего.

Я просыпался в комнате, которую снимал в двадцать три. За окном июль — жаркий, голодный на грозу июль, каким он бывает только в молодости. Телевизор показывал то, что показывал тогда. Телефон лежал на тумбочке — толстый, с кнопками, ещё не догадывавшийся, каким он станет. В кармане джинсов — триста рублей и проездной. И — главное — нигде не было ни жены, ни дочки. Они ещё не существовали в этом годе.

Первые ночи я просто ходил и смеялся. Честное слово — смеялся, как дурак, посреди ночного города. Я был свободен. Впервые за много лет — свободен по-настоящему, до головокружения: никаких долгов, никакой ипотеки, никако-

го страха за дочь, никакого «вынеси мусор». Молодое тело, которое не болит. Целая жизнь впереди — как чистый лист, на котором не написано ни строчки.

И одно но. Я уже знал, чем всё кончится.

Не всё, конечно. Но главное — знал. Я знал, какие фирмы выстрелят, а какие сдохнут; знал, кто из этих весёлых парней поднимется, а кто через десять лет будет стоять у окна и думать о высоте. Я знал, какой команде не выиграть, у кого сложится семья, а у кого нет. В двадцать три такое знание — не информация. Это власть.

Властью я занялся на второй же вечер. Поставил у конторы на матч, счёт которого помнил так, как помнят телефон детства. Выиграл. Поставил ещё. К концу месяца у меня было денег больше, чем у того Никиты было за все четыре года, — и всё это я, взрослый человек, получил как конфеты за то, что прожил лишнюю жизнь.

Я снял квартиру не на месяц — на год вперёд, чем напугал хозяйку до белых глаз. Купил куртку, которую в настоящей жизни так и не позволил себе. Телефон — тот, на который смотрели. Я шёл по вечернему городу, и люди оборачивались мне вслед — не на куртку. На походку. На походку человека, которому нечего бояться.

Потом были клубы. Скажу прямо: я ходил туда не ради музыки. Я ходил туда, где меня слушали. В двадцать три я говорил с людьми так, как не умеет говорить двадцатитрёхлетний, — со спокойной уверенностью человека, который уже

видел, чем всё кончается. А уверенность в клубе — это валюта. Она дороже любых денег, потому что её нельзя показать, а можно только излучать.

Меня запоминали по имени. Меня звали туда, где в настоящей жизни меня бы даже не посмотрели. Девушки кружили — и я позволял им кружить. И, боже, как это было легко. Как это было приятно. Как это было грязно — но об этом позже.

Был и Гоша — бармен с крашеными пальцами и золотой цепочкой поверх свитера. Он рассказывал мне про свою жизнь, а я кивал и вставлял в нужных местах нужные слова — я знал, что через год он уедет на север и там сгорит, но не говорил. Зачем? Мне было уютно так — знать про человека всё и держать это при себе, как держат козырь. Уют власти. Самый дешёвый и самый скверный вид уюта на свете.

Я умел управлять людьми — мелко, по-домашнему, как управляют барменом чаевым. Я знал про человека больше, чем он знал о себе сам: где он будет через год, кого полюбит, на чём оступится. Я говорил — и люди делали. Не потому что я приказывал. Потому что я был уверен, а уверенность — это приказ, который отдают шёпотом.

Её звали Лена. Я знал о ней три вещи, ещё когда она вошла в зал: как её зовут, что она боится остаться одна и что в той, первоначальной жизни, через два года она выйдет замуж за человека по имени Дима и будет, в общем, счастлива. Я знал это — и всё равно подошёл.

Я умел её слушать так, как не умеет слушать никто: я слу-

шал не слова — я слушал то, что будет через десять лет. Я говорил именно то, что ей нужно было услышать, — и видел, как она тает. Мы гуляли до утра, она смеялась моим шуткам, я знал все её страхи до того, как она их называла. Ей казалось, что я читаю её душу. А я просто читал черновик.

И вот однажды ночью, на мосту, она замолчала на середине фразы, посмотрела на тёмную воду — и заплакала. Я сделал то, что делал всегда: положил ладонь ей на макушку. И замер.

Ладонь на голове. Я знал этот жест. Так мать поправляла мне воротник, когда руки у неё были в муке. Так Пришедшие касались Вики. Так они касались Кати. Ладонь на голове — это не ласка. Это способ сказать человеку: молчи. Я управляю.

Я чудил. Серьёзно — чудил, как чудит сытый мальчишка, которому никто ничего не сделает. Парню в белой футболке, который смотрел на всех сверху вниз, я сделал «подарок» — назвал счёт матча, который тот собирался смотреть, и поспорил на машину. Я выиграл. Он отдал ключи — и по его лицу я понял, что сломал человеку что-то внутри, чего не купишь за машину. Мне было смешно. Один вечер.

Мне всё сходило с рук. Так и должно было сходить: я был уверен, что мне всё сойдёт. Днём — дно, ночью — бог. Я думал, что между этими двумя жизнями нет мостиков. Я ошибался.

А потом была ночь, которая всё перевернула. Лена запла-

кала — уже не на мосту, а в машине, — и сказала мне фразу, которую я буду помнить дольше, чем любые свои победы:

«Знаешь, что самое страшное? Тебе всё равно. Ты заранее знаешь, чем всё кончится, — поэтому тебе всё равно. С тобой не страшно, Никита. С тобой — пусто».

Я сидел в машине до утра. Не двигался — только смотрел, как за лобовым стеклом гаснут фонари один за другим, будто город выключали по регламенту. И думал одну мысль, простую и страшную: мир не изменился. Изменился я. Мир и раньше стоял такой — с людьми, которых можно взять, уговорить, с гарантированной улыбкой и ладонью на макушке. Просто раньше у меня была семья, которая не давала мне этого заметить. Семья — это не стены и не штамп в паспорте. Семья — это человек, который не даёт тебе становиться тем, кем тебе удобно становиться.

Она вышла из машины и ушла по ночному тротуару, и каблуки её стучали так, как стучит выключенный из розетки телевизор. Тук. Тук. И всё.

И я понял, чью работу делаю. Подумайте сами: Пришедшие не били, не ломали, не кричали. Они просто вошли и положили ладонь — и человек становился удобным. Я делал то же самое. Каждый вечер. Бесплатно. По собственному желанию. Я был им не противником — я был их маленькой копией в двадцать третьем годе.

Власть без любви — это не власть. Это стирание. Только стирают не документы — стирают людей, потихоньку, глядя

им в глаза и улыбаясь правильной улыбкой, выученной по учебнику. Я стёр Лену за месяц — так же, как стёрли мою семью: не заметив, не услышав, не остановившись.

А через две ночи случилось то, что напугало меня по-настоящему. Я бросил другу фразу — Саше, весёлому, быстрому, самому близкому из всех, кто у меня был в том году. Ему звонила девочка из очереди в поликлинику, а я посмеялся: «Не её уровень, Сань. Ты не тянешь». Он не позвонил. Посмеялся в ответ — и не позвонил.

И тогда, лёжа на картоне у мусорки, в минус двадцать шесть, я проснулся в холодном поту. Потому что понял простую вещь, до которой снизу не догадаться: я не знаю, какой цепочкой ко мне пришла Вика. Может быть, через Сашу. Может быть, через ту девочку. Может быть, через тысячу таких мелочей, которые я сейчас перекраивал, как мальчишка перекраивает снеговика. Один мой звонок в том году — и Вики может не быть. Не «расстроится», не «обидится». Может не быть. Как не было меня.

Самое страшное в даре — это то, что он не только позволяет. Он запрещает. Я знал, у кого в том году случится беда, — и проходил мимо. Не мог помочь: любая помощь — это изменение, а любое изменение — это чей-то дом, который больше не построится. Я ходил мимо чужих бед, как ходят мимо витрин, — и чувствовал себя или богом, или трусом. Тогда я ещё не знал, что это одно и то же, если у тебя есть власть и нет ответственности.

В ту ночь я сформулировал правило, которое с тех пор носил в себе, как носят в кармане ключ от дома, в котором больше не живёшь: всё, что случилось до Викиного «Доброе», — неприкосновенно. Ни слова, ни ставки, ни звонка.

Я вернулся в тот клуб в последний раз и сказал Лене правду — не всю, конечно: ту, что можно сказать человеку, которого ты использовал. «Прости меня. Я пользовался тобой, чтобы почувствовать себя живым. Ты не виновата ни в чём». Она посмотрела на меня долго — так долго, как смотрят люди, которые уже всё поняли, — и сказала: «Иди уже». Знаете, взрослые слова прощения звучат очень просто. Три слога — и свободен.

Куртку я оставил в той комнате — повесил на спинку стула, как вешают чужую жизнь. Телефон сдал в скупку — вместе с сим-картой, записными номерами и историей, которой не должно было быть. Квартиру освободил за час: я умел уходить быстро — нищета вообще лучший в мире преподаватель того, что тебе никогда не пригодится. Пока не пригодится.

Выигрыш я раздал за неделю — так, как раздают пайку: молча, не глядя в глаза. Официанту, который плакал в подсобке. Парню у входа, у которого отняли кошелёк. Старику, который считал мелочь на подоконнике. Не буду перечислять — деньги всегда возвращаются к деньгам. Мне нужно было одно: чтобы они перестали быть моими.

В последнюю ночь я сидел на лавке в том дворе, где жил в

двадцать три, и думал о том, что свобода — это не когда никого нет. Свобода — это когда есть, кому сказать «доброе». И есть кто ответит.

Я подумал и о Лене — о той, из первоначальной жизни, которая выйдет замуж за того самого Диму. Я ничего ей не изменил. В том мире, откуда я пришёл, она не знала меня никогда. А в том, где я прожил два месяца лишней юности, я оставил ей выжженный месяц и извинение в три слога. Такие вещи не амортизируются. Иной раз я думаю: может, где-то в ветках, которые мне не видны, есть Лена, которая так и не вышла замуж за Диму. И это — самая дорогая цена моих двух месяцев свободы.

Утром я проснулся на дне. Картон. Толик спал рядом и дышал ровно. Я лежал и думал, что впервые за два месяца хочу отсюда — не в тот год, не в клубы, не к Лене. Просто: чтобы было куда уходить. «Это и есть богатство, парень. Не деньги. Куда уйти» — Толик знал это раньше меня. Люди там вообще знают много такого, что богатые узнают слишком поздно.

Если вам однажды дадут власть — любую: деньги, дар, положение, голос, который слушают, — запомните одну вещь. Вместе с властью всегда дают счёт. И платят по нему не вы. Платят те, кто вас любит. Я узнал это на собственной шкуре: два месяца я был богом чужих маленьких судеб — и ни одной души не приблизил. Души нельзя выиграть, купить, предсказать. Душа достаётся только так: ты отдаёшь — и не

требуешь сдачи. Как Вика, которая гладила меня по спине и говорила «я никуда не денусь», не зная, что во мне растёт.

Вот тогда я и понял окончательно, за что борюсь. Не за время. Не за дар. За кухню, где пахнет ужином. За слово «доброе». За женщину, которая одна. За ребёнка, который перескакивает через трещины в асфальте, как через реки. Клубы, лёгкие деньги, кружащие девушки, власть — это декорации. Красивые — пока не выключают свет. А свет в нашей жизни включала она.

Наутро я вышел на трассу.

Глава 12

ГЛАВА 12. ДОРОГА

После дна я держался от людей подальше. Люди — это риск: взгляд, который задержался на секунду дольше нужного, вопрос, заданный не вовремя, лицо, которое потом вспомнят. Я научился платить наличными, не называть фамилию, спать в машине на дальних стоянках и смотреть продавцу в глаза ровно столько, сколько смотрят на сдачу. Деньги я брал только наличными — так учил Толик: человек без истории не должен оставлять следов.

Но совсем без людей нельзя. Человеку, который хочет остаться незаметным, нужна самая незаметная работа на свете. Я нашёл её через доску объявлений на автостанции: требуется подсобник. Возить, таскать, не задавать вопросов. Так я стал ездить с водителями.

Так я встретил Митю.

Он был старым — лет шестидесяти, с руками в старых мозолях и голосом, которым разговаривают не с людьми, а с дорогой. Возил он всё подряд: овощи, пиломатериалы, чьё-то приданое, чужой ремонт. «Газель» у него была старая, но чистая — он протирал руль тряпкой каждое утро, и от этого я почему-то поверил ему больше, чем любому человеку за последний месяц.

Он болтал всю дорогу. Про себя, про трассу, про погоду,

про то, что солярка дорожает, «а зарплата — нет, она как была, так и осталась, потому что совесть в тариф не вписана». Я слушал вполуха и улыбался в нужных местах. Это была самая спокойная неделя за всё время бега.

Я ездил с ним три недели. Каждое утро в шесть — от склада, и «Газель» пахла бензином, старой резиной и Митиными ладонями, и я засыпал в кузове среди ящиков, а он не будил меня до места, а будил — один раз, ладонью по плечу, как будят своих. «Просыпайся, брат, приехали».

— Ты чего не женишься-то? — спросил он как-то на светофоре, глядя в задние огни впереди стоящей машины.

— Был. Есть, — сказал я.

— Так привози, познакомлю. Жена у меня померла — семь лет как. А тёща живая, приедет — приютит. Она у меня наизусть выучила, кого жалеть, кого приютить. В основном путает, конечно, но желание — золотое.

Стёпу он показал мне однажды — фотографию в бархатной обложке, которую достал из бардачка с той осторожностью, с которой достают не вещь, а память. На фотографии был юноша со скрипкой — серьёзный, с оттопыренными ушами и упрямым подбородком.

— Играет в оркестре, в Питере, — сказал Митя. — Первый пульт. Второй, но всё равно пульт. — Он вернул фотографию в бардачок так же осторожно. — А не звонит. Скрипачам звонить некогда. Партитура вон какая — сама по себе жена.

— Он в тебе не разочарован, — сказал я тогда.

— Откуда ты знаешь?

— Я не знаю. Я верю. — Я смотрел в лобовое стекло. — Разница небольшая. А результат — весь.

Митя научил меня менять колесо за семь минут. Он делал это молча, с той лаконичностью, с которой старые водители делают всё: домкрат, ключ, стопор — и готово. «Когда менять не умеешь, ты в дороге всегда пассажир, — говорил он. — А пассажир всегда верит водителю. Это плохая позиция, брат. Худшая из возможных».

Вечерами мы пили чай из его термоса — крепкий, с малиновым листом, который он собирал сам, «у своих, где никто не ходит». Он не знал, что защищает меня. Он вообще не знал, что я нуждаюсь в защите: он просто был занят тем, что любил дорогу и сына, — самый занятый человек на свете, у которого и так был один любимый человек, и тот молчал три года.

А потом я услышал его.

Не голос — мысль. Мысль была не моей, и я знал это так же точно, как знаю, где у меня болит. Она шла рядом со мной, в голове этого старого человека, и повторялась, как заевшая пластинка: «Стёпа, я бы всё отдал, чтобы ты просто открыл дверь и сказал: пап, я проголодался».

Я не должен был этого слышать. Сны забирали меня в другие годы — но наяву мир оставался миром: мысли чужие были заперты в чужих головах.

А теперь — не были.

— Митя, — сказал я. Голос сорвался, я замолчал и начал снова. — Твой сын. Стёпа. Он вернётся. Может, не сразу. Но он вернётся, и первое, что он скажет, будет про еду. Слышишь? Про еду.

Он не затормозил. Он не повернул голову. Он проехал ещё километр — ровно, спокойно, как ехал всегда, — и только потом сказал, глядя на дорогу:

— Ты откуда знаешь?

Я не ответил.

— Ты откуда знаешь, что я каждый вечер про него думаю? — повторил он. И добавил тихо: — И что имя его Стёпа. Я тебе его не говорил.

Машина выехала на прямую. За окнами — поля, туман, ни одного огня. Митя смотрел на дорогу так, как смотрят не на дорогу, а в себя.

— Слушай меня, — сказал я. — Я не знаю, откуда я знаю. У меня очень странная болезнь. Или очень странный дар — я до сих пор не решил, как это назвать. Но я говорю тебе правду: твой сын жив. И он думает о тебе. Он не выходит на связь, потому что ему стыдно, — он считает, что разочаровал тебя. Я не могу это доказать. Могу только сказать. А дальше — решай сам.

Митя молчал до самого конца трассы. А когда он остановился у склада, чтобы разгрузить мешки, он повернулся ко мне и сказал то, от чего у меня похолодел затылок:

— Тебя хоть как-то звать-то?

Я не назвал имени. Ни разу. Ни одной живой душе за все эти месяцы — и теперь тоже не собирался.

— Вот и ладно, — сказал он. — Имена — это для друзей. А мы пока попутчики. Но ты мне, брат, нравишься больше, чем грузчики, — это я тебе говорю как водитель с двадцатилетним стажем: по глазам вижу.

Он потёр тряпкой руль — уже вечером, после смены, зачем-то, — и замолчал.

И до самого вечера я не сказал ни слова — и он не сказал тоже. Но я ехал и чувствовал, как холодеет затылок, потому что впервые в жизни кто-то знал то, чего я не говорил. И я не знал ещё, что это знание — оно не про Митю. Оно про меня. Оно было первым звонком: мой путь уже слушают.

Глава 13

ГЛАВА 13. АРИНА

Первый раз я увидел её в автобусе.

Не в том, в котором я ездил, когда у меня была обычная жизнь с будильником и мусорным ведром, — в тот, где я жил теперь: пересадка за пересадкой, город за городом. Я ехал с работы, уставший, невыспавшийся, с мыслями, которые уже месяц крутились в одной точке, как стиральная машина без белья, — и она села напротив.

Женщина лет тридцати. Тёмные волосы, собранные в небрежный пучок. Серое пальто. Книга в руках — старая, с потёртой обложкой, я потом, когда мы подружились, узнала, что это был Сент-Экзюпери, «Маленький принц», издание восьмидесятых годов, и она читала его уже в двадцатый раз.

Я не обратил на неё внимания сначала. Обратил, когда она подняла глаза — и я увидел в них то, что не должен видеть ни в чьих глазах: переливы.

Как у тех двоих.

Лицо её было спокойным, обычным, красивым без всяких претензий, — но глаза в тот миг, когда они встретились с моими, на долю секунды переливались, как вода, как ртуть, как отражение в кривом стекле. И я понял.

Я понял всё сразу.

Я вскочил — чуть не опрокинув бабушку рядом, — вы-

скочил на остановке, не своей, — и побежал. Не оглядываясь. Через двор, через дорогу, через забор, через чужие огороды — я не помню, куда бежал, помню только, что ноги несли сами, и сердце билось в ушах, и за спиной никто не бежал.

Я остановился только у реки. Упал на колени на песок, дышал ртом, как рыба на льду.

И — услышал за спиной шаги.

Спокойные. Неторопливые. Шаги того, кто шёл не бежать, а догнать.

— Ты бежишь не от меня, — сказал женский голос. Спокойный. Не теплый, как у той, в плаще, и не холодный, как у того, в пальто. Ровный. Как у человека, который много раз повторял одно и то же и уже не надеется на ответ. — Ты бежишь от себя.

Я обернулся.

Она стояла в трёх шагах. Она ничего не делала — просто стояла, сложив руки, как стоят в очереди, — и смотрела на меня. И лицо у неё было обычным — не переливалось. Никаких ртутных отражений, никаких смен черт. Просто лицо. Женское. Человеческое.

Почти.

— Кто ты? — спросил я.

— Арина, — сказала она. — Меня зовут Арина. Тебе лучше сесть, Никита. Ты выглядишь так, как будто вот-вот упадёшь, а я не хочу тебя поднимать.

Я сел. На песок. Прямо там, где стоял.

— Ты — одна из них, — сказал я. — «Разум».

— Я — из тех, кто наблюдает, — сказала она. — Это не совсем одно и то же. — Она посмотрела на реку. — Но близко.

— Что вы хотите?

— Ничего. Я вообще ничего не хочу. Это тебе нужно — хотеть. Я просто наблюдаю. Так уж вышло, что за тобой наблюдают двое: они — с одной стороны, я — с другой. И мы смотрим на одно и то же — и видим разное.

— И что же вы видите?

Она помолчала. Потом села рядом — прямо на песок, не постелив ничего, — и сказала:

— Они видят инструмент. Я вижу человека. — Она посмотрела на меня. — А ты пока не видишь ничего. Ты видишь только страх. Страх — плохая линза, Никита. Всё через него кажется либо угрозой, либо выходом. А на самом деле — и не то и не другое.

— Они убьют мою семью, — сказал я.

— Они её уже убили, — сказала она спокойно. — Точнее — стёрли. Тебе ли не знать — ты сам это сделал. — Она посмотрела мне в глаза. — Я не говорю это, чтобы ранить. Я говорю это, чтобы ты перестал бежать. Бегунов они ловят. Всегда. Всех. У них — вся вечность, а у тебя — один сон за раз. Ты не выиграешь гонку, Никита. Никогда.

— Тогда что мне делать?

— Перестать бежать, — сказала она. — И начать думать.

Я смотрел на неё — на эту странную женщину, которая сидела со мной на песке у реки в ноябре и говорила со мной, как никто из людей за всю мою жизнь: без страха, без жалости, без попытки успокоить или обмануть. Просто говорила.

— Почему ты помогаешь мне? — спросил я. — Кто ты такая?

Она улыбнулась — впервые за разговор, и в этой улыбке было что-то очень старое, очень усталое и очень, очень грустное.

— Потому что я тоже когда-то бежала, — сказала она. — Двести лет назад. И потом ещё раз — сто лет спустя. И потом ещё. Я умею бегать, Никита. Я бегаю лучше всех. И я знаю то, чего не знают они: от «Разума» не убежишь. От себя — тоже. Можно только остановиться. И тогда, может быть, — она пожала плечами, — может быть, они остановятся тоже.

— И что тогда?

— Тогда начинается всё интересное.

— Двести лет, — повторил я. — Вы говорите это, как про стаж работы.

— А что это, по-твоему? — Она подняла с песка камешек и бросила в реку, не глядя. Вода не ответила. — Двести лет стажа. Я была девочкой в деревне, где всё горело. Меня вынесли из дома на руках, и тот, кто нёс, сказал мне: «Не смотри». Я смотрела. Я всегда смотрю, Никита, — это, наверное, и есть моя профессия.

— И что было потом?

— Потом меня нашли. — Она говорила ровно, без нажима, как диктуют показания, которые давала сотню раз. — Один из них — не тот, кого ты видел, другой. Он сказал мне: «Иди с нами — и твоя семья будет жить». Я пошла. Семья умерла через сорок лет — просто умерла, как умирают все: без «Разума», без злого умысла. Просто время. — Она смотрела на реку. — И тогда я поняла, что сделка была не сделка. Они не обещают. Они констатируют. «Будет жить» — это не обещание, это диагноз на момент осмотра.

— А вы убежали от них?

— Я перестала играть по их нотам. — Она сжала пальцы, и я заметил, что на её руке нет ни кольца, ни следа от кольца — и всё-таки видел этот след. — Это хуже бегства. Бег они уважают: бег — это согласие, что убежать можно. А тишина в их оркестре их не устраивает. Я стала наблюдателем — и с тех пор наблюдаю. Восемьдесят лет за одним человеком. Двадцать — за другим.

— А за мной?

— За вашим родом, Никита. Я наблюдаю за вашим родом давно. — Она повернулась ко мне, и в её глазах, обычных, человеческих, было то, чего не бывает у людей: память без даты. — Я знала твоего отца. Не так, как ты его узнаешь, — раньше. Когда он был похож на тебя и боялся того же, чего боишься ты.

— И чем кончилось?

— Он перестал бояться, — сказала она. — Это и был конец. И начало. — Она поднялась с песка легко, как поднимаются те, кому вес не мешает. — Тебе полезно это знать наперёд: они забирают страх последним. Сначала — память, потом — время, потом — лицо. Страх они оставляют до конца, потому что страх — это провод. По нему они и находят тех, кого ищут.

— И как перестать бояться?

— Перестать бежать, — сказала она. — Всё остальное приложится.

Она встала, отряхнула пальто — жестом, до того человеческим, что я чуть не поверил, — и посмотрела на меня сверху вниз.

— Спи сегодня, — сказала она. — Без страха. Посмотри, куда тебя выбросит. И запомни: если увидишь старика с зелёной папкой — не беги. Он друг. Ну, — она улыбнулась, — почти друг. Считай, что друг.

— Какая зелёная папка? Какой старик?

— Увидишь, — сказала она. — Иди. Тебя ждут.

— Кто ждёт?

— Не знаю, — сказала она и пошла прочь — вдоль реки, не оглядываясь, — я не знаю, Никита. Я просто наблюдала тебя достаточно долго, чтобы понять: тебе давно пора перестать бояться того, кто ты есть. И начать бояться того, кем ты можешь стать.

Она скрылась за поворотом берега.

Я сидел на песке один, и река несла свои воды — осенние, холодные, равнодушные ко мне и ко всему на свете, — и я думал о её словах. О «бояться того, кем можешь стать».

Я тогда ещё не знал, насколько она была права.

Я узнаю это позже. Через два года. В комнате, где меня будут ждать.